

Тернопіль
КРОК
2010

Пётр Червинский

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

УДК 82-3
ББК 84(4Укр)-4
Ч45

Ч45 **Червинский Пётр Петрович.**
Птицы небесные. – Тернопіль: Крок, 2010. – 236 с.

ISBN

ISBN

© Пётр Червинский, 2010

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

Взгляните на птиц небесных: оне
не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш небесный питает их.
Матфея, 6:26

Незабываемые дни

Филиппов за мыло бы душу отдал, а это было совсем особенным, совсем исключительным и, наслаждаясь мягкими прикасаниями охлаждающей пелены, освежался он и воспарял.

Вода лилась глубокой тонической струей, гудела, передаваясь телу, и дрожь ее в толще была приятна возрастающим первородным грехом, приобщающим естеству.

Миша Весёлкин не приходил. Не приносил с собой запаха пряных трав, недостаточных поползновений и вечно юной прохлады, облакающей словно плащом воды, придающей привычному дикость и новизну непростительной в некое время забавы.

Филиппов заткнул ухо пальцем и посовал, моя, с чваком, исполняясь удовольствия западающей и выпрастывающейся затылки. Затем погрузился, набравши легкие, на дно гудущей в водореве куртины.

Плескалось вокруг плетиво пузырей и капель, каждый и каждая, подобно Филиппову, наслаждаясь томительностью проникающего естества. От стенок покатых краев предержавшего ложа всходил туман испарений, словно прохладный склоненный лоб курил избытком жизненной влаги и стражди. Подскакивающая в расхождениях спада кром`а грозила перевалить за край истоком уставшей стоять воды.

Нырнув, Филиппов отфыркался, снова сев. Протирая глаза от мыла, развез его по усам и, вдохнув, ощутил гомерический, прохватывающий одор, приятно вскользающий в ноздри чирикающим щеглом.

Скорей бы пришел Веселкин. С ним изысканно хорошо в дополнении к мылу. С ним внутренние борения не столь тяжелы и не столь ощутимы в тяжбах переживаемого дня.

Задернутый полог мелькал, дразнясь, не пуская видеть, хотя казалось, за ним стоит кто-то. Отвисшая парусина морозящего пылью дождя вводила в обман, блазила несбыточностью пробуждаемых грез, тщедушным сомнением млеющей половины.

Но вот и он. Открывшееся лицо, немудрённо хихикнув, показалось и скрылось в двери. Ласковое тепло охватило отдохневшее тело, вдвойне, от внутренней и от внешней волны, затопившись оплавленным серебром, будто закатом прихваченные струи в задремавшем затоне.

— Ты не проспал вчера? — хитро спросил Миша, наливая в стакан разведенную клюквой воду.

"Не до того мне было", — подумал Филиппов и не сказал, припомнив вчерашнее.

Вчера по прохладе в туманящейся темноте ходили к Сорокину распивать привезенный из Константинополя пальмерпудинг, и это было совсем неплохо. В открытые окна черёпался сад, усиливающийся тоже войти, но его не пускали, предпочитая ему неживую природу. Было тепло и сыро, и прядяющими ушами бродили по потолку окорачивающиеся вставные тени, тяжелые на просвет. Сорокин все время вскакивал, то что-нибудь принести, то вызванный к телефону, и если б не это, ничто б, наверное, не нарушало приобретенный покой.

Среди них было двое новых пришедших, как-то особенно вежливых с предоставленным в их распоряжение прибором. Аккуратно подхватывали они ножами и вилками выпадающие из массы куски и так отправляли их в рот, будто клали на место. Освобождающиеся же прогалины, словно ниши, засвечивались неярким, изнутри исходящим ручьем, в то время как отсвет окна, освещая, падал рассеянно дымчато, не обнажая, а припорашивая подкашивающиеся долины и поперечины черт лица.

Ощущение это и сейчас передавалось Филиппову, он его чувствовал, осознавал, как чувствовал и осознавал раздражение на Сорокина, бывшего дверью и мечущегося в себе.

Маета пустых перегулов была постоянно чужда Филиппову и сейчас не отвечала его усиливающемуся настрою.

Открытые форточки удивленных глаз, изгиб отслоненного локтя, встревожившийся ущерб губы, так не годящиеся, так не соответствующие желаемым и тишине, вспугнули Филиппова, заставили пересесть, потому что забытое не прощается, ибо оно не приходит к вспугнувшему.

Если рассчитывать по размеренному ежедневно, то Филиппову бы ничего не оставалось, как вспрять, потому что застои отверёзывающихся затухающих нервов создавали непроходимую муть, а это грозило опять застоями и остановкой, и Филиппову так нельзя рассчитывать.

Миша присел на стоявший в углу чугунок, загнувши ногу, положил ее поперек другой, поставленной половинным квадратом ноги. Так ему было всегда удобно, так ему удавалось как можно более себя ощутить.

— И во сколько ж тебе это влетело вчера?

"Что он имел в виду?" — хотелось подумать, но в расслаблении не хватило сил.

— Ни во сколько. Давали за так. Мне всегда кажутся странными претензии на окупаемость — налоги, сборы, страховые кампании, долговые проценты, счета. Ты знаешь, все это, как правило, не более чем игра в расчет. Финансовая, как, впрочем, и всяческая другая, выгода в бескорыстии. Миром и деньгами правит мораль, и только она одна приносит неоспоримый, стабильный и безотказный доход.

— Если бы.

Не закрытое окно опять напомнило унесенное, опять добавило к сосредоточенности и отрешенности чего-то чуждого, опять отвлекло от чего-то, всякий раз оставляемого на потом, важного, сущного и большого. Распирившее отдохновение улетучивалось словно вдуваемый пузырь, и не хотелось и приходилось раздражаться по пустякам. Захватанные обои, залитая керосином доска, отчего-то подставка в масле и закапанный парафином стакан — все это всплыло в перевернутом

обращенном в себя созерцании, и это, а не другое, приятное, давало свое ощущение бытия.

"Зачем уноситься с ветром?" — отчего-то подумалось вдруг, оттого ли что дни были сочтены, а Филиппову нравилось их дразнить, вызывая из памяти по одному, оттого ли что дуло, и тревожное уподобление ветру возникало само собой.

— Ну, и когда же ты думаешь выезжать? — словно эхо вторило голосом Миши Веселкина из самых что ни на есть глубин.

Филиппову и не думалось, просто время было такое, такие дни. Тяжесть собрания отвлекала, нагромождения лиц, кинематографом проносившихся перед внутренним взором, заставляли задумываться о себе. Так, в единении, представлялась внимательной и не сквозящей жизнь собственная, свое осязаемым бремя.

— Я вот все думаю, куда бы ты, Миша, пошел, будь на моем месте?

— Я бы — к Майорову, там хотя всё свои.

Это было серьезное замечание, на него следовало что-то сказать, в крайнем случае изобразить отношение, выдавив многозначимость на лице, но Филиппову не хотелось, время уже ушло.

Миша смотрел на Филиппова открытым, не злоумышленным взглядом, ничего упрямого не оставляющим на душе, и это всегда подкупало, обезоруживало.

"Я всегда такой чистый", — словно говорили в такие минуты его гнедые бесхитростные глаза. — "Я вот смотрю и не вижу, ничего не вижу скрытого, ничего двойного, мне многозначимость не нужна, я весь такой, без лукавства."

Видимо, эта черта и располагала к себе Филиппова, изошренного в умыслах и передуманного в своем. Как непохожее к непохожему, как минус к плюсу, его тянуло к безущербной открытости. Его сгфрированные терзания, находящие друг на друга и теряющиеся в догадках самих себя, его сомнения и неуспокоенность искали открытых равнин и находили их в Мише.

Видимо, в этих поисках находил себя и Филиппов и, получая отдачу, тешился и услаждался.

Миша заботливо наклонил вороненую голову над опрокидывающейся доской, видимо, вспомнив таящуюся в ней неожиданность, и как-то со знанием дела нежданно-негаданно произнес:

— По-настоящему так не делают. По-настоящему надо бы предупредить. Потому что бывают другие планы. Живем как животные, каждый сам по себе, ни в открытую поговорить, ни вместе съездить.

Пробежавший нацелившийся холодок неприятно обдал и передался Филиппову обхватившей вдруг ребра тоской. Это можно было предположить, но не так же сразу. Нравящаяся открытость Миши могла бы надоедать, но Филиппов, принимая в расчет последствия ее заземленности, всегда старался не доводить до этого. И вот теперь вдруг такой неожиданный переход.

— Ты знаешь, — желая исправить создавшееся положение, открыл было рот Филиппов, но находчивость изменила ему — неудобство ли положения, осознаншееся в эту минуту, охватившая ли растревоженность или же что еще, но он не нашелся сразу.

— Ты знаешь, — сказал он, подумав и порассчитав, — я ведь совсем даже неспроста, я ведь намеренно не таскал тебя, потому что Сивцев и Солодухин правы, отводя каждому времени нужный срок. Чему ты мог бы там овладеть? (он так и сказал, увидев в таком построении особый смысл) Чему учат кучка бездельников и мерзавцев? Ты посмотри на других. Обрати на достойное взоры.

Паутинны бесплодности производимых усилий, и Филиппов, почувствовав это, осекся, освободившись. Иногда в незаконченности он полагал больше значения, чем когда все сказано, и хотя это к произведенной речи могло относиться с трудом, да и вряд ли вообще относилось, между тем привычка дала себя знать и, включившись, перервала начавшую разворачиваться тираду, подсунув Филиппову вовремя удовлетворившее его облегчение.

И было ему так хорошо и тепло, и так мигали и мельтешили по телу какие-то опереточные мурашки, что и на этот раз все обошлось к обоюдной пользе (так, во всяком случае, ему показалось), и уж по крайности не без пользы.

— Я тебе давно хотел сказать, — из далекого далека, из приютившей будто утробы, разомлеваясь и закатив глаза, проговорил Филиппов, — ты Телепенева не ищи, ни к чему тебе Телепенев, он бездушная пиявка и пустоцвет.

И приподнимаясь на вытянувшихся носках, Филиппов вырастал в собственном мнении провидца и несуетлова.

— Телепенев тебе не враг, но и хорошему тебя не научит.

С чего вдруг он взял, что Миша, сбившись с ног, преследует Телепенева, в другое время он бы и сам не сказал. Это было наитие, накотившее озарение, и хотя Миша не знал, как отнестись к откровенности Филиппова, произошедшей вдруг, ибо не ведал за собой никакого особого к Телепеневу предпочтения, однако задумался, ведь не случайно же Филиппов такое сказал. А Филиппов не знал уже, что продолжать, выговоренное оказалось таким значительным, таким неожиданно сокровенным, что не могло быть разбавленным, да и не хотелось к нему ничего добавлять.

Филиппов подышал открыто разинутым ртом, словно набираясь оставленных сил, посмотрел как-то пьяно и подозрительно в сторону Миши и, не усомнившись в предвиденном, принял к сведению еще один разворот событий.

Веслом колыхалась напреди на краю огромная рыба, словно в раю была, словно бы приплыла незамеченной и, пробудив Филиппова, уплыла, передав переверченный привет Телепенева, и вот теперь отлегла. Трепыханием слов оставались укручиваемые струнуши, за ней устремляющиеся, но не поспевающие за ней, и они-то и породили, видимо, в дремотном предрасположенном сознании Филиппова обоявшую маету.

— Ты хорош был, — отчего-то порешил дать оценку Миша, вроде бы как и на то, но, как оказалось, на что-то прошлое, будто тысячи тяжущихся созданий заговорили в нем разом, рвя и не пуская вперед ни одно, — ты так кристаллился этаким гоголем,

так бил в глаза (этим он хотел, видимо, выразить особое свое восхищение). Но ты знаешь, ведь не всем близко и так понятно всё.

То был голос из-за ущелья, с заушин раковин бормоты, когда особая наталкивающая гремучесть прицокивает и першится в глазах и исходит безвласой тенью.

"А кому понятно?" — хотел сказать заинтересованный разошедшимися линиями предположений Филиппов, и туда и сюда, и в ту и в эту обоюдоострые двуконечные стороны, и не мог, осоловев под навалившимся, несдвжимым, опоясывающим бременем сна, сквозь него веки смеживающий козодой угугукал и бил крылом над распаханном полем.

"Если б ты знал настоящее", — думал сквозь сон Филиппов,— "если б ты мог обонять чудовищное дерьмо и несправедливости, громозящиеся вокруг, но ты не знаешь, ибо не знают и те, что творят."

И мысли, одна другой жужжавее и натяжней стали одолевать и, кружась, лепиться на отведенном пространстве сна, словно бы в терракотовую посуду, в которой можно было представить устроившегося Филиппова, тучами потрясли испутившихся блох.

Зябликовый сон

Маотно, по песку, грудясь, перебирались толстые головороты, как пни телес, и между ними те, что потоньше и меньше. Пробегали невидимые никому желтобрюшки, оставляя за собой зигзаги волнистой слюды, словно вспыхивали и горели песчаные отмели, сыплясь и отираясь колышащимся подскакивающим огнем.

Филиппов предвидел остатки дня, и в них чувствовал себя в безопасности и бестревожи. Оттого ему мнившееся не производило тяжелого впечатления, напротив, светило коротким, но впечатляющим всплеском пузырилось и отдохновенно лопалось на выпущенном пару. Отведенные, распущенные в

густоте погружения глаза не искрились, только изредка праскали играющей рыбой, любуясь своей способностью наблюдать.

По убегающему песку в тени осыпающихся борозд выныривали скрывающиеся корветки, словно кошки, цепляющие за дно, и их нельзя было ни спрятать, ни ухватить, — также неотвратимо накатывают и исчезают с шипением волны в лопающихся теремах.

— Колень, когда принесёшь воды, — послышалось из осыпки, — дай же и мне во фляжку.

— Не да-ам,— бухнуло сапогом и понеслось с промежутками куропатиться в подворачивающихся лохматых хляпах.

— От ододуй, — яростно в кочевряже выворотилось древесное худосочие, словно вытянувшись в стремянах, и бросило чем-то вслед.

По равнине ходили тени, будто сдвинувшиеся плауны, им нечем занять было свою никчемушь, и оттого еще жаром и варом обдававшиеся гривера ссобачивались еще более.

— Какого полку? — гаркнуло из-под обояни нависающих бумазей, словно птица в лёт вспорхнула и клекот ее был рван, висленев — а-гу, а-гу, — задудело в повторе, покряхтывая и отрясаясь.

Вдали с заплывом скovyривалась луна, идя против туч, если б можно было увидеть, а здесь, в жиру, опекались и болобонились листья оторванных тополей.

Ясными были глаза смотрящего, светящимися кособочины крыл, и показалось даже, будто, слетевши, он производит зарю, так непохоже на всё, так отвлеченно мигал перемётный лик.

Лежавшие вытянулись на песке, приняв приличную обстоятельствам позу, и, заслонившись от глаз, пристально посмотрели.

"Какого полку?" — пронеслось в голове и Филиппова, и он не мог это определить.

В призрачном, не поддающемся прояснению полусне, будто колбасой набитые закомары, свисали арки то ли крутых волос, то ли руки, протянутые по сторонам, образуя, и та и та, симметричный синапсис неба.

— Ты Воскобойников? — спросила протянутая рука и, словно клювом мекнула, опустилась.

— Ну я, — отделившись от других стремглавая тень показалась искусственно возбужденной, с каким-то вызовом отслонившейся, мигающей и курной.

— Веди меня к капитану.

На припеке было легко скакать. Песчаные раскаленные полохатины подтягивали опускаемой ступне и вздергивались вместе с нею, когда припекало вынуть. То ли брелось, то ли пелось, и на моторных крыльях, казалось, взносился худой Воскобойников рядом с кружащимся следом.

Вью-ю — со свистом неслись галопирующие на покатых волнах морящего зноя любопытствующие злопахательства и вздохи сомнения в правде.

Переживания были вряд ли истинны, вряд ли открыты, просто какая-то злобствующая ерахта, охватив, наталкивала на пакостное негодяйство, подбивая на площадную брань, и, вытянув ноги, крепился и еле сдерживался Филиппов, чтоб не вскочить с задранным к небу хвостом. Но что-то не позволяло ему это сделать, что-то сдерживало. Видимо, слабость воли.

Когда ему говорили о неспособности, когда протягивал руку к печной трубе, жар и тепло исходящие изнутри обдавали так сильно, так беспредельно маняще, что ему казалось, что все это есть и ничего не надо.

А тут уведут Воскобойникова и где-то ёрнут, и откучившиеся от сидения другие будут потом вспоминать изменения предательской ночи, в которую ничего-таки не происходило, все молкло в ожидании трепета и усилий, а их-то и не случилось.

Капитан примет неприступный вид, будет смотреть мимо всех косым своим профилем, и ни Воскобойников, ни этот парящий, ни кто другой не смогут его пробудить к ответственности и стражи.

Голова к голове медленно переползли под скат полосато-коричневые гадюки, грудясь и пестаясь одна по другой, и нелениво смотрели их вытянувшиеся черепаши шеи из ядовито-зеленых и пыльных чехлов перелин.

Солнце накатывалось и отпускало, хотело словно запечь, но не сразу, оставляя время на лопающиеся между ребр круги и их промежутки.

Лейтенант был хитер и строен, и улыбчивая фигура его вся светилась самодовольством кнехта. Мириады волнующихся астральных тел, окружив, скрывали в нем не поддающуюся описанию осведомленность. Это он не пускает никого к капитану мимо себя, даже если очень просить, даже если упасть к ногам, распластавшись в недвижимости и без суеты.

Нетерпеливо перебирают пальцы негнущиеся струи свисающих балабол, подергивая и поспособливая их бебеканью в размозжевшей гуще, и долго-долго еще колотится разорванный воздух упاداющим и гримасничающим дураком.

Филиппову все не кажется ясным и одолеваемый перегон от выщербленного песка к туманной темени под сосной, и в хвое накиданных чересполосин, если смотреть сблизии, колченогий стол под навесом, и замирающий рябый разводный, страдающий горлом, еле выкрикивающий по имени тех и других, призываемых к разводу.

Калугеры, погружась, копошатся в пыли растущих обводий, покашливающие в кулак и неспособно тащащие за собой волокающуюся и цеплющую гуню. За ширмой остриженных туй невидимы, проскакивают мышастые очереди гоняемых посреди двора и мелкотно и каплюжно подныривает под гузно выставившегося бухалом лейтенанта всегда готовый на все шепотун.

Подсвистывающие в окне колывашки, раскачивающиеся на сучьях торостья наделали шуму и суеты в непробуждающемся свизлом одреме, и никому приходящему не показались бы студны отхватывающие балабоны.

Попусту дули в дуды. Попусту наставляли на говк вытягивающиеся струны шей. Попусту грели коленями и животами песчаные перекааты и зыбуны — уведенного Воскобойникова нет как нет, и не подводили его к капитану, и не знает о нем лейтенант, и ни одна листовная душа о нем не прошавкла, и ни один подкочённый купырь не промык.

Принесшие воду давно ее расплескали. Давно расторчавшийся разводной обник. Закублателись разобредшиеся по окрестью заводья, свизгнувшись и повисши елочным на проводах дождем. И не было ничего что бы нового, всё бесстыдная плёкая жмудь, только уведшего Воскобойникова как бы и не хватало, и оттого и Филиппову и всем вокруг казалось осветшим и приостановившимся проведенное вместе время.

Ястребиным клёком распростириались по убыли солнечные круги, уже не жаря, но одолевая радужьей копотью в подглаза, не видящие вокруг и только в себя смотрящие, словно лисьи хвосты, мельтешащие и шарахающие, протирались в бессони оболакающих масс, словно кто их наталкивал, пахтая, в животном и судорожном торможении, в котором не каждому по себе.

— Колень, ты принес в сапоге яйцо? — и упикивающиеся желтки осовелых глаз спрятались быстро с мышинным писком в жуомках и древоточинах щёк.

— А что, забыл? — жердью протянутая рука натыкалась на расставленные на пути препятствия животов и спин, и это было похоже на уже бывшее с Воскобойниковым с призывом идти к капитану и сопровождать в молодящем беге.

— Куда ж ты, Колень? Выбор пал на тебя, — и кивающий этот выбор протянулся в сторону, словно вытягиваясь в длину и почти хватаясь лица, — не ерунди...

И повторялось всё как с Воскобойниковым – и вставание с заглотившего чешуей песка, и медленное не хотящее сожаление в перебирании ног, но только вначале, и петушки кувыркающиеся скачки, и воскружение, и мерцающая марья колпъ.

"Куда это всё?" — мелькнуло Филиппову, и не хотелось быть с ними, и понималось, что одному не быть. Оттого и тревожные отворотные фанаберии вспыхивали и воскурялись в недремнеющей голове.

Потом еще будут другие. Потом еще половень и засушливый, не щадящий ничто пожар. Потом еще насобравшиеся болваны будут гикать и гоготать, тыча пальцами в подворачивающихся и спешащих прочь. Потом еще балочье, обоплавшись, рухло и хоботло в убегающего шелгуна, и кивок был хрястов – пузырем под

лопатку вздуло волдырь, и вздрал, и каждый за ним, оболганный после этого, встал по затылок в своем дерьме.

Яркие картины отражающей свет воды сменялись впечатлениями бледных оглоданных бирючин коряг, словно кто взалкавший яростно оглодал их. Лица, знакомые по песку, то ли унылы были, то ли утомлены, и Филиппову всё вязалось, что пожар к потопу, а что потоп к пожару. И это не было злобной шуткой или угрюмой хлябостью натакиваемого бытия. Это была управляемая мудрость, подмеивающая пространство в отступе терзающихся заимообразных стремнин. Наверное, если б Филиппов сам наблюдал их стремления, он бы лучше не подгадал, но не это было тревожным, тревожным было другое, то же, что и сейчас доставляло определенное неудобство при мысли.

Нога к ноге пробирались в облаве все прятавшиеся в ателье. Над порушившимися обгорелыми спинами доезжавших хором курился минующийся отводимый венк – кто-то, упав под балками, не поднялся и шел теперь прямо кверху.

Филиппову виделся призрак масла, преследовавший его, плывший над ним в желтом маетном растворе. Масла, прятавшегося в лесу. И оно отводилось, отлипало от рук, его предержавших, оттапливалось и текло, залепляя обводки и коловратки мыса, к которому всё волоклось, от которого всё выводилось, и бронированные машины, вертящиеся на бугру, и тяжелые их арбалеты, в стену и щебень вдававшиеся, пластавшиеся и расколыхивавшиеся бесшумной снастью своей заведенной пурги.

По низу дуло, сбивая с ног, и бежать было тяжело по раскиданному навозу. Затягивало и влекло. Сапоги бухали коробами, и в каждом, как в вазе, хлопала и плескалась вода.

Это не оставляло Филиппова. Ему всё мерещилось непередаваемое ощущение зыбучести и пустоты. Затем повисали липшие к телу помоины и шелуха, выплескивавшиеся с водой, и Филиппов махал над ними, силясь их оторвать от себя. Но не всегда это получалось. Иногда Воскобойников представлял прямо смертью в открытую нишу уставляющихся прободелых глаз, иногда что другое мешало, не сразу, но с иргуном на привязи бес

смотрящих, мятущихся и кувыркающих поросячью свою кутейниковскую оплелую рожу.

Низко-низко над головой пролетела тяжелая туча, за соснами бухнув рассыпавшимся шаром, и покатила дальше. Из хвои сплелась под ногами мягчающая подстилка, чтоб было как падать, и спотыкающиеся и бултыхающие в рутине, хватаясь за разопревшее дно, передвигались и копошились молча, уже не вспоминая ни Воскобойникова, ни отверёзывающего всех лейтенанта, ни даже машины в воде, ни пришедшего с колесом и расставленными руками шофёра.

Казалось, отсутствующие куры с ошипанными головами зависли в немом пространстве на талых фигурах обнажившихся с хвои стволов – как грифы, как тени умершего в ожидании перемежающихся, идущих, ловящихся на обман.

"Не приносите воды, даже если одолевает жажда, даже если покажется непереносимым ее отсутствие, потому что за ней последует Воскобойников, потому что за нею смерть от болотной лилии, потому что непередаваемо хищный взгляд у узкогрудого лейтенанта, потому что попрятали масло по яминам в хвойном лесу." — и Филиппов был растревожен и петухат, и сбивчивость, вовсе не свойственная ему, была в ноздри дурным пузырьём подземелий.

Глупости бесконечные

Миша полоскал в рукомойнике видимо опорожненную чашку, вода плескалась, кружась, с живостью убегая в сток, и веселые кружева задумчивого мишиного плескания разлетались в стороны, охлёпывая и Филиппова и вокруг.

Филиппов, разглядывая светящуюся мишину зарис, в охвате свободно смежающихся бестревожных движений, думал свое заблудшее, не оставлявшее с суеты. К мыслям о вечном домешивалось что-то дурацкое и чудное. Не оставляло масло, тяжким грузом лежавшее на душе.

Вспомнилось утро того тревожного дня. Пришедшие волновались больше обычного, потому что им показалось, что им недодают, что кто-то скрытный, от которого что-то зависит, приходит и прячет, тайно являясь в палатку распределителя и пряча масло на проводах. Что исчезавшее тянется следом за сметчиком, что он во всём виноват.

И собравшиеся, грозясь расправой, машут вилками и ножами и в длинных хитонах и пугающих бородах подступают ближе в намерении то ли напасть, то ли перевернуть перегораживающим столом.

Начинается дикая по своему исполнению пляска кружащихся лиц и рук с размётывающимися обрывками непонятно чего. В ход идут летающие над головами ложки, столы переворачиваются, перешибаются, и, завалясь, окончательно путают всё, не давая понять, что же исчезло, что было и что вмазано под тяжестью павшего.

Приходится отступать, загораживаясь от напуганных, поскольку не избежать нападения. Филиппов, подлезши, выскальзывает, ибо он прятал в лесу пресловутое жёлтое масло, повисающее на проводах, избличающее теперь и его и Кутейникова, бывшего с ним и ручавшегося ему.

И теперь, стоя поодаль от случившейся суматохи, есть время подумать, как быть.

С Кутейниковым не заладилось. Кутейников кричал и квакал и, бегая по рядам, хватал и цеплял Филиппова, примериваясь его изловить, но Филиппов увёртывался, предпочитая не попадаться тому на глаза. Однако случалось. Не прятаться же преднамеренно.

Открывавшиеся ворота впускали и выпускали не всех, а только по предъявлению Кутейникова. И Филиппова тоже впускали. За маслом и за крупой. За привозимым сахаром. Чай же выдавался не в очередь, а как попало, что создавало определённые неудобства, ибо его становилось всё меньше, хотя привозилось всё больше, в стаканах же разводилась муть. По вечерам в лесу втихую кто-то, видимо, чай поедал, оставляя свидетельства тому на песке и хвое. Кутейников, злясь невидимо исчезавшему помимо него, жаловался на недостачу, чем привлекал внимание к

очевидному факту многих. Стали замечать и другое, чего раньше не видели. Пустующие корзины с хлебом, уносившиеся неизвестно куда, блуждающую посуду с кусками разделанных туш, жбаны горячего и холодного, перемешавшегося и таявшего на глазах. Но более всего удручало масло.

Никто не знал, как это произошло. Один Филиппов был свидетелем тайны.

Кутейникову припасённого надолго не доставало. Необходимо было всё время куда-то идти, чего-то носить, передавать, обмениваться. Филиппову такая жизнь не нравилась, он предпочитал отсиживаться, прячась, когда было можно, в лесу. Тетерников тоже считал, что так будет лучше. Вместе они забивались куда-нибудь и там переживали кутейниковских страстей, проносившихся ураганом – внезапно и насторожённо и так же внезапно упдающего, как начался.

С Тетерниковым они дудели и гомонили и ладили между собой. Проносившиеся обои с медвяным шохотом западали; с них сыпались обуглившиеся фурфырки, как какое-нибудь баловство.

“— Сапоги — это зря, — сказал Тетерников, — Ты зря принёс сапоги.

Не допитое пиво грозило вылиться, подталкиваемое ногой, а на одеяле, расстеленном по песку, стояло в миске пресловутое масло, переминаясь в нерешительности большим ножом.

Было много сомнений, одолевавших, но отступивших. И надо было сознаться в чём-то. И наугад бродили и тыкались белеющие по верхам кисти еловых бабочек, не отцветших вконец и распустивших перья.

Озлобленное голошение подвечерних риз, как будто вода плескалась окрай, не давало сосредоточиться, но отвечать было нужно, и Филиппов, чуть отступя, отодвинул ногою расстеленную подстилку, взмахнул.

“— Ты что это? — успел только возопить Тетерников, когда горстью песка залепило ему растворившийся было рот, — ты это тьфу, — и как какая-нибудь желатье, взбесясь, подскочил укусить с надутым хвостом и прыснуть в стервятину Филиппова рукава, защищавшего горловище, желеватым ядом, но не удалось —

Филиппов прынул, и потому уже было и невозможно схватить — необходимое время ушло, силы, нужные для прыжка, оставили, и Тетерников, распростираясь, полёг на живот, отплёвываясь и шепелявя.

“Что это ты придумал? Что я тебе такого сделал? — пустопорожно перебирая вслух не содержащие ничего морденты, гудел Тетерников, не озабочиваясь особенно, ни к кому собственно не обращаясь, ни в ком словно не стремясь вызвать жалости и сочувствия. И в этом его положении виделась своя несомненная выгода, потому что он, горизонтальный, Филиппова укорял и, плюясь, разбрызгивал с вылетающим писком и злость, и несправделивость, и тупую ненависть, чего нельзя было сказать о Филиппове, состоявшем по внешности в положении более корыстном, но не по своему существу: отойти он не мог, поскольку Тетерников елозил ногами в непосредственной близости с маслом, сворачивая под себя сучением одеяло, но и, оставшись, торжествовать падение Тетерникова оказывалось неловким и неуместным.

В дурацком таком положении Филиппов ждал какой-нибудь перемены, и та не замедлила наступить. Подошли из куста стоявшие в них кутейниковцы, следившие за разворотом дел, и первый из подошедших, нацелившись, первым и третьим пальцами поднял с закрученного в жом одеяла масло, банку с пивом, горох, недоетый паштет и как доказательство своей правоты и догадки понёс впереди себя на отставленно-вытянутой руке.

Все пошли за ним следом, и даже Тетерников, перед тем говоривший, что ни за что, и так ничтожно теперь продавшийся, как продан до этого за сапоги, только, может, внутри сожалевший, что шумом привлёк внимание толпы к себе и к поляне, тем самым всему только что происходившему.

Жалко было и одеяла, свёрнутого в трубу и забранного теперь под мышку одним из шедших.

Жалко было и воспоминаний, оставленных на крутом берегу, в отрыве от всех, в лицемерии представавшего взору, тогда, когда и Тетерников и Филиппов, будучи вместе, не ссорились, не

сквозились, а плавали по реке, согреваясь душой и телом на ослабившемся краю песчаной вкруг заводи из редких, свесившихся дождями ив; тогда, когда Тетерников, взлезши на дерево над водой, издавал дерзкий зык заведённым горлом, как какой-нибудь первобытный или лесной бандит.

Это всё оставалось теперь в перечёркнутом прошлом – одним неверным дурацким шагом, выдавшим себя с головой.

Жалеть приходилось о многом, и главное, о кусочке воли, выдохнутом с трудом, взлелеянном и забытом. О том, что не каждому было дано обрести в этом упрямом, утормошённом мире, не пускавшем так просто из себя прочь, а только лишь за какую-нибудь покупку, за мзду, для каждого свою и особую. Кутейникову она обошлась, например, дороже – кругами копчёных колбас и обещаниями первосортных лечений. Возившему самосвал Киргизову банками спирта и самогона, раздобывавшимися у друзей. И только Филиппову она доставалась довольно легко – лисьей хитростью и умением быть не собой, каждый раз не в себе и не в своём месте.

И вот теперь достигнутое так легко можно было и утратить.

Филиппов клял себя и Тетерникова, затеявшего некстати разбор, хотя понимал в душе, что неизбежному быть, ибо давно уже подкрадывался заподозревающий Кутейников к разоблачению гиблых мест, без которых нельзя было тихо спрятаться и уйти в независимое бытё. Это и произошло теперь. И это должно было Кутейникова утешить, всколыхнуть его павшее самолюбие, не подкреплявшееся в последнее время сколько-нибудь убедительным и наглядным примером.

Вместе с тем Филиппов чувствовал, что этого не произойдёт, потому что ничто уже не происходило на пользу Кутейникова, он как-то свял, задавленный обрушившейся суетой, подозрительностью и ненавистью к себе. Так что даже само это событие, застигнутое с поличным врасплох, между Филипповым и Тетерниковым, может стать Кутейникову же во вред, и тогда ничего из него последовать для обоих не может – будет делаться вид, что не было ничего.

Филиппов тогда ошибся. И в первом случае и во втором.

Приведённых, их поместили отдельно, чтоб не могли сообща сказать, и тут же о них забыли. И только масло, одно только масло фигурировало потом как непреломный факт, как доказательство чьей-то вины, неизвестно при этом чьей, какой-то общей, какой-то моральной, или такой, о которой знали, догадывались, но не могли называть, потому что тогда будет сказано и, следовательно, конец, а вдруг появится что-то другое, какое-нибудь продолжение, тогда неверно были названы виновные лица, а этого быть не должно, или, наконец, — вины того, кого нельзя называть, потому что шатнутся устои представлений о правильном, о том, как должно, как следует быть, поскольку назначенный охранять воровать не может, а если ворует, об этом не говорят, потому что воровать тогда начнут ещё больше, воровство станет явным и всем дозволенным, а так вроде и нет ничего, всё оно как-то само собой, и устраивается и не устраивается. Видимо, для этого и было нужно чувство всеобщей ничьей вины, и в этом случае ни Тетерников, ни Филиппов никого со своими прибрежными глупостями не интересовали, да и могли ли интересоваться?

Трудно было, однако, представить, что кто-нибудь из предстоявших мог доходить до столь рационалистических обобщений. Оно и не шло ни от кого, устраиваясь как-то само собой, по заведённому распорядку, не требуя ни сложных приготовлений, ни агитации, ни массовых прений. Словно включался невидимый механизм, шептавший эмоциям свою правильность и переключавший их в своё единственно верное и заведённое русло, без потерь, взлохмачиваний и переворотов, без тревоги и суеты.

... Филиппов встал ото сна из охладевшей ванны и завернулся в мохнатый халат, затянувшись поясом в тугой неразъёмный узел.

Будто мрежа раскатилась и вновь свернулась у ног — подскочивший ручьём мягкий отсвет слепой воды колыхнул и плюхнул при выходе.

Филиппов потёр полотенцем уши, взъерошил волосы на голове и сидел, задумавшийся, молчаливый, не замечая ни Мишиного присутствия перед собой, ни тока расплёскиваемой им

струи. В нём всё было замкнуто на себе самом и ничего другого он просто не чувствовал и не видел.

За тонкою дверью насилуя природу

Было тихо. Ничто не предвещало больших перемен. Ни резких спадов, ни неожиданных, отваливающихся, нелепых шагов.

За дальней стеной в углу копошилась обёртка чужого сна, перебирающего лапками бумажного сожаления, выеденного насквозь. Выскакивали из своих ячеек линованные рафли картонных обоев, превращаясь на глазах в напущенный обводной туман, кажущуюся меледу. И Филиппов, и веселящийся с чашкой Миша, сидевшие один подле другого, слышали раздававшиеся за стеной копошения, упирающуюся возню. Затем стали слышны повизгивающие равномерные звуки, стоны терзаемой мебели и общий, на едином дыхании и тоне, вой, словно из скрытого подземелья что-то неодолимо шло. Слышно было, как вытягивали, тянули и отпускали резиновую повислую грушу, хлопалась ею и билась поставленная поперёк стена, словно ширма раскачивавшаяся на хлипких, пошатывающихся ногах.

Филиппову показалось, будто рядом нет никакого Миши, потому что был он тихим и молчаливым, ни сопения, ни вздохов, ни чмоканья не раздавалось над ухом, скорее наоборот, скорее втягивающую дыру напоминало его присутствие, и Филиппов, чувствуя, как его поглощает с воздухом эта дыра, заёрзал, забеспокоился, переминувшись, и искоса, из-под бровей, вперил связующий в Мишу взгляд.

“— Мне это напоминает один пикник, — одеревеневшим непрокашлянным голосом после раковины с водой проговорил впечатлительный Миша, — ты помнишь, мы были тогда с тобой на природе и с нами были твои друзья.

О каких друзьях вспомнил Миша?

Если это было в Торопше, так то были какие-то прощелыги, и Филиппову они совсем не понравились.

“— Ты помнишь, там тоже постоянно преследовал этот звук, я его теперь узнаю, — и Миша, чтоб показать, вытянул в трубку губы и, как какой-нибудь трубказуб, издал из себя с напряжением странный, но отдалённо похожий звук, напоминающий протянутое икание с полуоткрытым ртом, так ходят воюющие по ночам старожилы, не находящие места в испещрённой земле, и нет ничего в оставленном ими мире, что бы могло их заткнуть или принудить не издавать ртом подобные звуки.

Филиппову стало страшно, ибо мелькнула мысль — откуда бы Мише этому научиться, если он не был одним из них? Но, не оформленная и не доказанная, она иссякла, оставив по себе неопрятное впечатление.

Миша между тем всё вытягивал и вытягивал губы, приноровливаясь и стараясь быть точным.

“— Ты знаешь, — отчмокнув губами, заговорил он снова, — мне и тогда показалось странным и после я долго над этим думал, как это люди с таким сомнением, с такой недостижимой уверенностью в себе поддаются на наималейшие соблазны себя уронить и роняют. Ты помнишь, как выскочил Кротов из-за кустов и накинулся на Трубадунова, а Трубадунов куда как себя задирает, и как он при этом смялся, как пал, а дело-то всё выведенного яйца не стоило. Ну что ему собственно был этот Кротов? Так, пустота.

Кротов действительно был пустота, трепыхаясь за всеми и каждым в подобострастной готовой позе, наклонённый к лицемерию и похвале, ухмыляющийся и зловредный.

Филиппов этого Кротова не переносил, и хотя, по оценкам других, он представлялся вполне достойным, в силу известных причин, Филиппова это сбить не могло, он прекрасно знал настоящее лицо и действительную охоту Кротова. Цена ему была грош и в базарный день, да и того ещё надо было дожидаться, по обыкновению же — совершеннейшее ничто, плюнуть и растереть, так и то ещё стоило поразмыслить, не даром ли.

Воспитанный в вечном страхе терять, Кротов, теряя, становился как зверь и рвал и метал зубами всякого попадавшегося на пути.

Тогда на пути попал ему Трубадуров, негодяй изнеженный и ухоженный. В другое время мог бы попасть другой, хоть тот же Миша Весёлкин, один Филиппов не мог бы уже попасть. Филиппов основательно пережил тот момент, перейдя невидимый Рубикон, заручась скрытой поддержкой тех сил, которые не дают, по времени, уподобляться определённому сорту, когда всё уже извне остаётся вне и, не завладевая внутренностью, не может причинить вреда.

Препятствия на пути Трубадунова создавали преграды непреодолимые, и, вместо того, чтобы, их минуя, становиться нестигаемой воли железным черезгубунеплюем, завоёвывая тем самым авторитету и весу в глазах, Трубадунов немел, стирался, выходя сухим, а потом предстал, уже без препятствий, ровно таким, как был, не меняющимся, искренне самовлюблённым и совершенно и исключительно уверенным в собственной счастливой мечте. И хотя мечта эта его изводила, хотя не мог он на неё положиться ни в какой решительный миг, Трубадунов был неизменен и оставался собой именно в силу этого, в силу неистребимости своей плотской мечты.

Филиппов терпеть не мог Трубадунова, его эту хлюпкость и гомозу, с каким-то нескрываемым раздражением, даже брезгливостью Трубадунова принимал, давая понять всем видом и обращением неприятие самого существа, и несмотря на это ни сам Трубадунов, ни кто другой как-то умудрялись не относить высказываемого на счёт Трубадунова, а относили упорно на счёт особой филипповской амбициозности, едкости его оценок и взглядов, невосприятия определённых вещей, к разряду которых относилась и трубадуновская мечтательность.

Никто не хотел себя в чужих глазах уронить. Никому не казалось естественным оставаться самим собой, и даже Филиппов, он это чувствовал и замечал, вынужден был, поддаваясь общему настроению, напускать распущенный, непотребствующий, дикий вид.

“— Так низко пасть, так опуститься, не пытаюсь ни малейшим образом сопротивляться насилию, и это в присутствии тех, на уважение которых так рассчитывать, так полагаться. Я

после этого Трубадунова никак не могу уважать. У него были миллионы, и он их растерял, за какие-то полчаса.

“Когда мне давят на грудь, я дышу, — думал Филиппов, — и когда мне сильнее давят, я продолжаю дышать, но когда мне на грудь становятся табунами и топчут по ней невпопад, я, наверное, не смогу, я сомнусь, и от меня это не будет зависеть, потому что не успею за движениями перемежающихся масс.”

“— От Кротова что зависело? Напасть или не напасть, наступить или не наступить. Он действовал как машина, не подвластная ничьему уму. Прикажут одеться, она оденется, прикажут раздеться — она и то, поступки её ни от чего не зависят, они продиктованы волей заложившего её существа. Но Трубадунов ведь не машина, он человек.

“Я восстанавливаю в своём сознании движения одно за другим, автоматически, без их оценки, без определения и соотнесения с подоплёкой, и вижу всё как оно есть, в снятом, очищенном естестве — вот Трубадунов снимает пиджак, вот он расстёгивает рубашку, неподдающийся ворот, заворачивающиеся обшлага, выскакивающие из пальцев пуговицы с петель.”

“— Почему же он позволяет совершать подобное над собой?

Филиппов и сам часто думал — действительно почему? Почему в любой момент и в любое время над Трубадуновым всякому могло прийти в голову совершить насилие, и Трубадунов этому подчинялся, хотел он втайне того или не хотел.

Тираноборческая стезя не была свойственна Трубадунову. Скорее, наоборот, сам представляя законченный тип тирана и сумасброда, он легко поддавался чужому давлению не в силах противостоять, ему и в голову не приходило сопротивляться. Зачем, когда жизнь так прекрасна, так хороши, так свежи, так упоительны её впечатления и плоды.

“— Сливной бачок — дёрнут за верёвочку, и он отольёт. Тебе не приходило в голову, что, видимо, многие так устроены?

Открывшиеся полы обой были забраны в обе стороны, как занавески на впечатленных гвоздях незабвенной памяти отошедшего детства, и Филиппов и видел и не видел одновременно всё зло, творившееся в загороде, когда один над

другим совершает некое непотребное, чему нет имени в беспечальных устах, и между тем совершаемое зло торжествует, одолевает и обретается в новой природе переходящего в потусторонность, как бы в противоположность себя, на какое-то неопределённое время взобравшись, узурпировав существо, показывает истинную свою причину и непредвзятость, истинное мурло, чтоб потом, ослабившись, соскользнуть и сделаться непричастным.

Филиппов склонялся всё более к мысли о прободении совершаемого зла, о необходимости в нем участия на противной к нему стороне, и может, с такой же силой, с таким же слепым отчаянием. Не было только уверенности, что не зло, совершаемое по насилию и с принуждением воли, не оборотится в противоположность, во зло.

Природа того естества, к которому имели причастность сидящие Миша с Филипповым и наблюдающие её, могла легко обозначиться или неверно, не так быть понятой, извратно воспринятой, и в этом не было никакой безошибочности, неверия, преувеличения и самомнений, поскольку тонкой и едва уловимой оказывалась эта природа сама.

Без чужого глаза, без вчувствования, без прикрас она как бы не существовала. Её видимость приходила и уходила, сквозила меж пальцев, как убегающий в них песок, то обжигаящий, то холодящий, никогда не сходящий бесследно на нет, и только этим дающий о себе знать, оставляемым впечатлением, распростиранем, болевым беглым следом, слеплением, — её видимость проходила, но не она сама, никому не являясь и не будущая ни в ком.

Филиппов вдруг обтревожился, как обтрепался, взлохматившись по краям. От сердечных слепых толочений ему стало не по себе.

Миша сидел на месте, вытягивая губы в мерещившуюся ему пустоту, будто свистел, забавляясь свисту.

И ничто не менялось в комнате. Всё также отчаянно и заведённо скрипели себе за стенкой в своём углу, издавая всё тот

же звук, пилящий, надорванный, то выпячивающийся как утлый булбон, то с шумом втягивающийся и западающий.

Филиппов сидел, не сменяя ног, долго, раздумчиво, как мог долго, испытывая словно себя на протюн, и, не сходявший с места, мог бы уже утвердиться в собственном довольно высоком мнении. И убеждался в нём.

Светлое безумие

И нетлен снизошёл, свесившийся на тонких дневных крылах, оборванный лиловойный нетлен. Мише было слепно, Мишу не осенил, пронёс мимо Миши, а Филиппову прямо в нос, будто в капюшон, с головой и оставленными ногами. Охватил и понёс, как носят по облаку козлиц с перенизающимися хвостами бород. Не было парусины, так вях пронёс, просквозил, просочил, и Филиппову хорошо было на верхах и бебенить, и мало.

И вспомнил он тут жизнь свою, с ним не бывшую, чужое переживание, не ему доставшееся, такое бывает вдруг – Теребеева, в любовники ко введению напросившегося, когда неясно ещё, что к чему, ещё не кудахтали, не прорекали, а уже собираются прилагающие себя, будто папертью стоящие с повытянутою рукой, — давать, не просить, суetyющиеся слепотой.

Вспомнил и не сомлел, хотя помавание было убойно и холодно.

Теребеева пооттёрли стоять, ему всё виделось и не казалось, будто его это всё, хотя и трудно было по-настоящему разобрать, где чьё. Выигрыш сдавался таким ничтожным, что за него ради не стоило конопатиться.

Приударили в бубенцы, в трубы дунули, и упавшая ветвь ознаменала начало этапного действия. Впереди несли вервиё и хвосты козлиц, а за ними тирсы и палки с лентами. Красиво и горделиво выступал впереди отряд знаменосцев и факельщиков, неся зажжённое впереди на вытянутых руках, словно боясь ожечья.

Теребеев замыслил веселием наполнять кубки скучающей публики, когда уже нечем было, ничего другого не оставалось, и тем зашибать деньги.

Вокруг стояли по сему случаю с кубками в подставляемых руках и наверху, на самой большой верхотуре, весь в снегах и колосьях, проглядывал сияющий сиволап.

Приплясывали верещащие тётки, ударявшие в крутые ладоши иссушающими хлопками, будто рвали ремни, и в взвизге и в всхлопе выворачивалась наизнанку чья-то просящаяся напрочь душа.

Теребеев, довольный, ехал в повозке, сопровождаемый шутами и скоморохами, вертящимися сплошным колесом, так что за их верчением едва было разглядеть весь посажённый поезд.

А было на что глядеть. Размалёванными медовыми пряниками ломались дородные молодцы – сажень кося в плечах, с высвеченными чубами, в бекешах и зипунах, подбоченивавшиеся, притопывавшие и вскидывавшие ухарски головой. Снопями раскачивались румяные красные девицы, с волосами до пят, заплетёнными на крутой пробор и в повойниках, из-под бровей выглядывали соболиные опущённые взгляды, кидаемые в стороны, явно видимые, но при этом скрываемые, то ли стыдливо, то ль впопыхах. Наряженные медведями и козлами гремели в свои погремушки, дудели, вытянув шеи, и грохотали. Стадами столпившихся лебедей барахтались дети, махавшие палками и цветами, их было почти не видно за колоннами спин, словно молчаливые упорные карлы, знающие своё, выталкивались они на вид, заслоняемые, и, показавшись, прятались, настойчиво обозначая своё присутствие не соединяющимся зубьями бывших над ними верзил, и всё казалось, что, прячась, они в любой подходящий момент могут подрезать ноги гогочущих великанов наточенными ножами и вспрясть, повалив их перед собой, но отчего-то не делают этого, то ли ждут одного только им ведомого сигнала, то ли оставляют это на самый край, когда отгремят барабаны, отдуют дуды и нечего будет играть.

Белолобо выпячивались грудастые струи искристых фонтанов с кудряво кипучей водой. Метали в них из корзин и

котомок, из всего простирающегося и вытягивающегося бранья, имевшего форму груши и длинного – из тростин, пластилиновых палиц, хлопух, рыбьих морд – всё, что было, что им попадалось, купальные молодайки нескончаемой струёй. Набывчившись, статные истуканы с тугими мышцами, забрызганные водой, щурясь, щерились, натягивая кишку, чтоб плескала сильнее, и излучались литым сиянием в дробящихся радужных отражениях, словно летящие в шлёп водопадные рыбы.

Заведённые в дунде оплаченные хлопки раздавались то тут, то там, и мигалками страусих на подтягиваемых ногах показывались переносившиеся транспаранты. Махали цветками в розовых миндальных пупках, словно майским деревом в лентах и перевязках. Бумажками над крылом отведённого левого фланца, не уместившегося в русле улицы, подхватывались хвосты рулад и нагоняемых песнопений, не успевавших развиться в что-нибудь конченное, а так и бросавшихся рвано одними, другими, третьими.

Теребеев чувствовал себя на верху, и имел на то все возможные основания. Строй сдвигающихся и распротёртых колонн походил на волнующуюся при ветре ниву, на ковыльную степь с выгибающимися и гнущимися под ветром колосьями звенящих голов, с методичным стуком и погромыхиванием перемещающихся рядами, с бегущими следом друг к другу чересполосинами, со жмокающей гирляндой веющей над головами плакатной сдобой, с слепой лопашщей прорвой насобранного вокруг, с лепетом подвывающих гременных колёс, скифски взывавших к небу.

И Теребеев, приподнимаясь на вскруживающемся стремени, оборачивался налево, потом направо, смотрел вперёд и назад, в уходящую над спинами наклонённых голов серебристо-гумённую, сыромятную даль.

Затем побежали вперёд и стали стрелять из ракетин, пуская в воздух гроздьями цветной шелухи, а внизу стоящие закричали, загойкали, что-то не стройное, но подходящее к месту. Теребеев махал и кричал вместе с ними, подбадривая и поощряя их криком к крику, всё большему наверху.

Не стесняясь, начинали уже, заходясь, вопить, приподнимаясь на цыпочки, швыряя флажками, и какая-то снедающая химера, раскручиваясь, проникала в головы и сумятила, и хороводила их в монолит незабвенной памяти ссоединяющего их гололоба. Твёрдо стоящие на ногах посбивались в кучу, порябователись и захотели пройти, но их не пустили, началось движение встреч и вспять, вдруг возникшее ниоткуда и охватившее кряклым обручем всю толпу. По нему, по обручу, там и тут выступали каплями запотевающих фанаберий, показывались вдруг скульи губы, ящерино выбрызгивавшие своё, со слюной и пеной плескавшее, будто в накипи белых молний.

Повыталикивались политические кликуши махать и хрестать, но их заткнули, чтоб не мешали празднику.

Между тем торжествующий Теребеев продолжал, красуясь, то ли парад, то ли шествие, к неизвестному месту, ибо неясно было, куда оно всё текло.

На кособочи, на крутом берегу ждали вытянувшейся колонной добровольно присоединяющиеся и не спешащие потому – их не хлестали не опоздать. За ними рядами вдоль линии проводов шли парапеты и марши наведённого недавно моста, и отступить было некуда, разве что в полоскавшуюся за углом реку.

Крыльями трепыхались на взвейном ветру не только флаги, но уже и кудесы, расперившееся по потолку под навесом неба между карнизами припудревших домов и посеянными кочнями голов. Всё было гудно и безнадёжно, конца не видалось.

Филиппов отдёнулся от грозящего задавить плаката, поехавшего со стены и хрястнувшего на шипах. Тело было широким, а особо широкой, широколобой была понравившееся Теребееву голова, ибо её он, надев, носил на высокой палке. Сизым ли, шагренеющим отдавали ему глобастые костюки или другое что так припечаталось к подходящему месту?

В горящей степи умыкали уже попадающих под ноги на скаку старух, путая их в одну кучу с повизгивающей в тарабне девкотнёй, но уже всё равно было, потому что ничему из того, что следовало, не суждено было сбыться и быть, и в сбившуюся стаей ворон хлопотливую купу врезывались и не раз и не два

разлохматые чужеродцы, не умеющие никак отличить своего от несвоего, одного от другого. И Теребеев гавкал, издавая шумящий грудной водопадный рык, и Филиппову не мерещилось всё, и только не было под рукою Миши, чтоб лицезреть вдвоём. Миша сидел на своём всклокоченном месте всё также рядом, отнюдь никуда не сходя, но всё, что виделось, могло увидеться одному Филиппову.

Такое бывало с ним. Особенно когда в пору мления разопрёт. Видения одно за другим чередуются и терзают неокрепшую с перебоя душу.

Кудахтали где-то далёкие набредавшие запущения, не сдаваясь, не кажась, напротив, выпячиваясь на самый перёд, как если б их кто поднаторивал сысподу, дивясь, что нейдут, как им следовало, — как в откровении, вспавшем на вбок, тянутся посуху, по застывшей гребне перекаत्याщие груши на тонких серебряных ножках, не остудимых в траве.

Это и было нужно, по-видимому, чтоб, разродясь в какой-нибудь эротической колеблемой картинке, исхлестать накопившуюся за день брезгу, потому что держать её дольше в себе значило не жалеть своё зноем и холодом иссушённое тело на пронизывающем, походящем ветру. Филиппов не то чтобы знал это, но поддавался невольно этому.

Миша между тем забывал, с кем сидит, всё более укрупняясь в своём пекущемся уединении рядом с Филипповым. Нога, на которой сидел он, начала затекать и давать знать о себе только бегущим рёбер покалыванием и только тянучей мигулью под бок. Встать размять её не было сил, потому что что-то неведомое зазнобило и снизошло, законопатив разум.

Головой упираясь в подвёртывающуюся доску и оттого ещё более гнус, вползал невесть откуда бравшийся Теребеев, словно не было места ему, откуда приполз. Мише хотелось крикнуть, махнувши тапочкой в сторону подлезавшего, как в сторону копошащейся крысы, пожирающей снесь, но не смог, только ойкнул, совсем взбудясь.

Ногу не стало тянуть, лишь покалывало изнутри и волокло под бодню, как если бы что петушьё, негаданно прошмурдьясь,

зачесало, затёхало по голени и по ступне, расщепляя стопу в цевьё.

Это не было приятно Мише, совсем даже было ему неприятно, и если бы не Филиппов, сидящий возле оцепенев, он бы встал и вышел. А так, оказывалось не с руки, приходилось корчить терпение и рассудочность.

Событие

На провёрт показывалось всё не так. Вспоашившиеся младенцы распущенных по кустам незрелых сомнений не возмоглись, не ввосторжились и, стихнув, едва приподняв опавшее напущение, снова смялись.

Дверь открылась, и в голубом проёме стал Коротинов, в великолепных одеждах, блистающий, шевелящийся красками, как если бы по нему ползли во все стороны от груди плащеносные гологлазы. Но нет, не было гологлазов, только живописная яркая жуть серебрящимися золотоносными гирями выползла на взбугор и там застыла, таращась и пляясь в пространство.

“— Я вас жду, — помавала пальцем ландшафтно фигура серебрящегося Коротинова, и надо было вставать и идти, потому что время в лицах Сивцева и Солодухина не терпело мешканья и неотступно требовало своё.

Филиппов медленно встал со стула, будто за ним приподнялся тяжёлый неемлемый шлейф, цепляющийся за бытие или гвоздём припёртый. Встал, и всё в нём поднялось от низа живота к пищеводу, то ли от ожидаемой процедуры, то ли от вздымающегося восторга, потому что и в этот раз, как и в другой какой бывший, и в третий, рефлекс сознания заставлял подниматься медленно на невидимые носки, в воспарении, в мыслях ли или сопротивлении, хотя противствование не было свойственно отдохновенной душе Филиппова.

“— Я поведу вас в рай, — всё также картинно маша крылами раскачивавшейся саронги, объявлял Лаокоон, претендующий на такое прозвание в силу выющихся вокруг тела толсторуких шланг,

объемлющих там и здесь плотными бубликами несминаемых браслетов словно вылепленные мастистые рукопечья, и, заведясь, закунукав, заговорил вдруг ещё более празднично о параскениях и коринфских байях.

Надо же было вляпнуться так впросак, надо же было не умыкнуть перед ожидавшимся вздолжь приходом, в течение времени, отведённого на другое, на что полезное, на телесную мощь, например, и радость. Надо же было попасть на крючок заведённого Солодухиным ежевечерья, только всё оттого, что слабости членов не способствуют вновь подняться на собственное свое гонотье.

Филиппов, злясь на себя внутри, поверху не показывал виду, будучи совершенно прям и насилен.

“— Ладно, пошли, — решительно и как-то вдруг брякнул из глубины и отшвырнул от себя всё нависшее и всё тянущее ко дну.

Выйти стоило больших жертв. Надо было оторвать от себя налипшую смердь — и человеческого ничто, и переплетения пустоватых забот, и всякого голомыдья.

Миша стоял, перемешиваясь, стесняясь, не шепоча даже себе под нос, как бывало, потому что зрело в нём вдруг открывшееся сознание нелепости бытия. И Сивцев, и Солодухин ему казались ершами, колющимися, топорщившимися в глазах, или зобатыми троллями, в двух прямодухих голубиных крылах и в золоте подневестившихся проматывавшихся проходимцев ещё более контрастирующих обыдлое, грязно-минующее своё нутро.

“— Нет, — завопил вдруг Миша, — я не пойду.

И пришлось уговаривать, и улаживать, и усаливать, и молотить.

Коротинов легко и просто справился с этой задачей. Заломив Мише лебединую его шею под своё лакодемоно-никейское бронзовеющее крыло, он вынес его, как выносят козлиную песнь в трагическом гимне, в криптомериях, с венками и славами в честь богов. Да простит Филиппова Аполлон и все бывшие с ним в Никосии за совращающие движения углой души и прохерь в углу открывающейся картины.

То были разные люди, Филиппов и Солодухин, и, разными путями ходя, они почему-то сталкивались и спекались в однообразную глыбу без рук без ног, по которой линиями и полосами ползла одна на всех идея непотопления, хотя кому пришло бы в голову потоплять? Открывшийся вечер был тёпел, и как-то простуженно на ветру пошувыркивали развешенные не горевшие фонари.

Филиппов давно уже не выходил на улицу в таком неглиже. Он не прогрёб даже взлохмы волос и шёл себе так, как был, как если бы спяну не угодил кому своим откровенным видом и вызывающе тарасил теперь малиновые глаза.

Мимо брёвские, однако, не замечали несоответствия, казавшегося таким для Филиппова значимым, и Коротин, идущий на шаг впереди, не давал ему отставать, то ли подбадривая, то ли осаживая не идущим к окружению тоном.

“— Ярчайшие впечатления детства врываются в память как слепок, аляповато и габардинно, выпукло, как тафта, идущим по сторонам рисунком с бордюрами и подбойной каймой, с фаянсовою дугой. Это ли не то, что вы хотели, не то, к чему стремилась больная душа?

Вокруг собирались люди, стискиваясь в плотную массу, через которую трудно оказывалось проходить, через неё надо было, тревожась, передираться, как через трепещущий под ногами плетень-живоплот, чтобы не разрушить раз навсегда завёвшейся паутины, и им это удавалось, видимо, оттого, что Коротин с широкой грудью обладал определённым опытом, как в подобном деле, так, очевидно, и во всех прочих делах, от этого становилось легко и незамысловато с ним и идти, и говорить, и думать.

И Филиппов заговорил. Он сказал, что ему никогда до этого не было так легко и просто, и, хотя комплимент был воспринят, он не произвёл на Коротина никакого решительного впечатления, способного перевернуть чью-нибудь жизнь.

Откровенность, с которой Филиппову удалось заступить тянувшееся тяжёлое с его стороны молчание, не то чтобы понравилась Коротину, но как особенно не взмоглась. Видимо,

сказывалось бремя пережитого и несносный груз каких-то сторонних ни к чему не обязывающих предрассудков.

От Филиппова это не ускользнуло, напротив, он ещё более заострённо и явственно ощутил образующуюся ущельную пропасть между собою и Солодухиным, между ним и мышастым костюмом в жилетках мигающих фанфарон.

Глаза, видимо, надо было попятать от яркого всколыхнувшего тьму пространства распростёршихся тел.

В лимоновом оперении предстал валявшийся падший ангел, вокруг которого столплялись всё большие, всё растущие окружения, кутившие вечером и прохладой и, видимо, устававшие ждать акцидента, который не мог, не должен быть не изойти. Хоботом тянулись кружевы ведущих к разбегу улиц, задавливавшие собой. Кислотным дождём, обезлесевшим полости веселящихся глаз и ртов, нападали линии поперечин, в них отражаемо дрожали светом перевёрнутые кувырнувшиеся поганства, словно в бассейн уболкшие фонари, и не было среди них ничего такого, что бы могло отпасть.

Происшедшее не уписывалось в одномомент, и оттого ещё ближе, ещё знакомее представлялся Филиппову Коротинов, словно объединяющее звено, нарушившееся непониманием до поры, восстанавливалось с происшедшим неожиданно, но своевременно и отпадала необходимость насилия над собой.

Каким-то светом просвечивалось представшее, и Миша теперь оказывался в ином сечении, в ином восприятии со своим капризом, так не идущим теперь к существу текущего, переживаемого состояния торжества.

Падшесть каким-то невиданным освещением озарила спозировавшего Филиппова. Весь он был на свету, как в фарах передвигающейся по мосту колонны грузовиков, и не было ему от того ни одиноко, ни чуждо в этом перечерчённом ороговевшем миге, находящемся между слёз и глаз колосившегося дождя и рующейся реки под пролётом.

Аукались заблудившиеся толоконники, сея привычную для себя меледу, будто взмукивали и трудились над быдлом невидимые быки моста, не различимые в круче тьмы. Совались

туда и сюда снующие ребрики в смарагдовых комоватых разводах отпадающих сверху кресал, и не было гнили и гормоты, так часто сопровождающих его в продвижениях по листьям полос в кубометре сеющего вещества. Наблежавшие стада устали и залегли, и всё присшедшее не казалось теперь большим. Ни невесомостью сна, ни верностью полоскавшихся заполосин не объяснялось всё смывшееся, всё куда-то девшееся, и один только Коротинов с Мишей стоял незыблемый, словно встопорщенный над жнивьем истукан.

Памятуя о естестве

Летание было не заказано, было даже как-то наоборот. Можно было летать и не падать о наворачивающееся корье, и на пути своём не встречать сомнений и колебаний, созидающих неопровержимость преград непроходимостью посторонних невозжеланий.

Было тихо, и в тишости собеседствующие находили особую прелесть. Наверное потому, что ничего другого им не давалось.

По подбородку вползли неизвестно откуда взявшиеся, пронявшие перевязь тени и там засиделись, побренькивая тонким своим неснующим вниманием, словно бы возжелав чужих непромойных таин.

А они отставлялись, всё более падая в разверзавшиеся круги, пересекавшихся, переходящих друг в друга томлений, так что никак не давалось понять, что же оно было то, что кружилось и не давалось и между ними вросло.

Солодухин поёрывал и кипел, не умеющий никогда сдерживать своих копошащих в нем чувств. Коротинов принёс ему не совсем добрую весть о Дрёмове, о том, что Дрёмов дерзнул на своё и, потеснив Солодухина, заправлял открывшимися счетами.

Это вывело из себя Солодухина, а поскольку он всегда имел только два основных состояния – вне себя или полная

безмятежность, то первое неминуемо заканчивалось вторым, находя всякий раз себе очередную переводную причину.

Так бы было и в этот раз, если бы камень философского преткновения не застрял поперёк этих переводных причин, связующих две половины, и жизнь стихий неотступно не востребовала своё. Рука, лежавшая на гладкой постели, лениво тронулась подсобрав накидку греческого лохматого покрывала то ли верблюда, то ли козы и показалась в браслетах и перстнях до плеч.

“— Ну что ты скажешь, ну что будешь делать, — не сходило у Солодухина с уст, — опять этот Дрёмов, опять растопырившийся бекас.

“— Я ведь, собственно, так сказал, посчитав за необходимое бесперечь доносить о будущем попечении с твоей стороны за отраслю, но мне не показалось столь уж тревожным дрёмовское участие хоть бы в чём, я думал даже напротив, такая предупредительность не может мешать финансовой стороне, скорее наоборот, тем большую прибыль они приносят, чем большего внимания удостаиваются с какой-нибудь другой стороны.

Такая аргументированная весомость на мгновение остановила поток, беспрестанно лившийся из Солодухина и на мгновение внесла даже равновесие в раскачавшиеся было в отчаяньи умственные весы, но ненадолго, ибо Солодухин снова загомнил. Вычитывая воображавшиеся ему последствия из того, что могло и не быть, а начав, он уже не мог перерваться и не выговорить всего.

“— Это потеря, это большая потеря. Зная Дрёмова, можно гарантированно сказать, что он всё запустит (под *запустит* при этом можно было понять и конец и начало). Весь опыт его предыдущей жизни свидетельствует о том.

“— Ну что ты так беспокоишься, что не даёшь возможности событиям развернуться в силу их собственных внутренних скрытых причин? Чего стараешься предвосхищать? Дрёмов, со всей очевидностью, не настолько глуп, чтоб не запустить или не суметь запустить.

“— Нет, ты не понимаешь, ты не можешь понять, — и Солодухин, в изнеможении откинувшись на полудиван, рукой завёл выбившиеся волосы на голове подальше за темя, умело пряча их один к другому, — ты видишь только видимое глазам, скрытого же не постигаешь, скрытое не даётся просто. Я вот могу его видеть, ибо мне природой отпущено особое прозерцательство, а ты не можешь, и потому что мне тебе говорить. Что бы я ни говорил, ты не поймёшь, потому что гусь свинье не товарищ.

В некотором смысле это был обычный для Солодухина завиральный пассаж, хотя вместе с тем в нём были рассыпаны или, точнее, вкраплены какие-то странные наблюдения, свидетельствующие о большем, чем он сказал, и Коротинов это почувствовал.

“— Ты хочешь просто себя убедить в том, что твоё достоинство в особом рода чувствах, в то время как доводами рассудка создаётся нечто прямо противоположное. Однако это совсем не так. Хочу напомнить тебе, что тот действительный ряд событий, которым ты стараешься пренебречь, на деле есть проявление скрытого, и при этом не требуется сверхъестественной чувственности, чтобы его постичь.

“— Оно и правда, когда говорят “услужливый дурак опаснее врага”, — с надутым видом заключил Солодухин, — Что собственно ты знаешь о Дрёмове, какой стороной души он тебе открылся? А я вот знаю.

И тут последовал перемежающийся бесконечными отступлениями и аллюзиями мартиролог неисчислимых страданий и бед совместной жизни Солодухина с Дрёмовым, опыта глубоко печального, включающего в себя и разочарования, и сомнения, и заблуждения, — полосой, которую нельзя было бы назвать приятной ни при каком, ни при ближайшем, ни при отстранённом, ни тем более при сочувственном рассмотрении, нельзя было ею и пренебречь.

Коротинов однако не мог быть сочувствующим, потому что — для этого не надо было большой прозорливости — он понимал, что такое стояло за отступлениями, какой такой жизненный опыт Солодухин припоминал. Вместе с тем его отношение нельзя было

бы считать ни ближайшим, ни отстранённым, поскольку ни то ни другое не вязалось бы с осознанием Коротина, себя самого и той своей роли, которую ему удавалось либо приходилось играть при всё своём равнодушии и уравновешенности, поскольку ни с жаром ни с холодностью нельзя было бы ничему с Солодухиным отдаваться, поскольку с первым можно было бы полностью запропасть, а со вторым не иметь возможности продолжения. Ни то ни другое Коротину не подходило, вот почему, выбирая, он был поставлен в необходимость, никуда не впадая и не теряя голову, иметь вместе с тем не один только вид заинтересованности и участия, но и настрой, и душевную слабость, и расположенность.

“— Дрёмов мне надоел уже одним тем, что бесконечная череда бесчинств, им расточаемых, имеет такой неистребимый запас, которого хватило бы на целую сотню.

Этот странный вывод поверг Коротина на минуту в раздумье, потому что нельзя было понять, к чему это применить, хотя сказанного хватало на многое. И продолжая умственно под впечатлением услышанного доходить, перебирая в сознании наиболее вероятные перспективы, Коротин наконец ощутил тот скрытый и потрясаемый смысл, о котором Солодухин ему говорил с такой неотвязностью, и он, этот смысл, не показался ему ни сколько-нибудь привлекательным, ни столь убийственным, каким Солодухин его намеревался представить. Обыкновенный в своей переменчивости переворот от простого к сложному, от истинного к псевдобольшому, к псевдоучительному, из которого в природной его надутости многое следовало, а по существу ничего.

Коротин искусно вздохнул, сделав выпад и остановку, в паузу сосредоточив всю бывшую в себе силу, понимая, что она ему сейчас будет нужна.

И оно не заставило себя ждать, потому что в порыве Солодухин вскочил и, подбежав к окну, крикнул отчего-то на улицу громко:

“— Этот идиот завтра же угодит в психушку со своим чемодановым настроением, со всеми своими покрывками и

захоронками, которых у него по саду нарыто в земле. Неужели ты думаешь будто нет? — и Солодухин выставил палец, словно желая им проверить направление ветра.

“— Какое тебе удовольствие, Солодухин, так выставяться? Отойди от окна.

И точно, в тот момент, как он это сделал, в окно полетел с дороги поднятый кем-то и швырнутый коробок.

“— Что это было? Ты видел, что кинули?

“— Видел.

“— И что это было?

“— Развлёкся кто-то.

“— Да. Наверно, ты прав. Так вот, — продолжал Солодухин, — мне всё думается о подоплёке, и знаешь, к какому выводу я пришёл? Что всё, что мы ни делаем, всё к лучшему, потому что невидимый кто-то, Бог или Провидение, руководящий кто-то, хорошо всё знает без нас и без нашего в то участия направляет. Мне и о Дрёмове-то думать совсем не хочется, пустой человечиска, и дела его всё пустышка, ты прав, наверное, когда говоришь, что ничего-то он не способен испортить. Порча — дело, требующее ума. Большого и разностороннего. Вот, например, как у нас с тобой. У тебя или у меня вместе взятых. Ты что-то сказал?

Коротинов сидел нога за ногу, начиная осознать, что всё кончилось, всё, что должно было случиться, уже случилось, и Солодухин вступал во вторую свою, безмятежную фазу.

“— До чего же приятно вот так раскинуться, подставить лицо встречному ветерку, закрыть глаза и ни о чём не думать, только ощущать на себе лёгкие влажные прикосновения перемежающихся пространств. Ты пробовал это когда-нибудь? Попробуй, очень приятно.

И став вдвоём к распахнутому окну, оба откинули голову и, закрыв глаза, вытянули ноздри и подбородки навстречу идущему воздуху, пуская его в себя, ловя его дуновение, как ловят бабочек, летающие и лёгкие, едва уловимые колобки перекатывающихся прикосновений.

Это и было нужно. К этому и стремились всем существом, всей сухотой вкрадчивой, не объявляющей о себе громко души,

припрятываемой в неразбеге, как сундучок с неизвестной замочной хитростью.

Мамаду

Тёмен был подстилаемый ковёр, по нему не ходили ноги, только изредка, испещряв, проступали бороздчатые кублатые мольбы проеды.

Филиппов пришёл. С Мишей Весёлкиным, хотя сопротивлялся тот и не шёл в конце.

“— Что я буду у Солодухина делать? — недоумевал, Филиппов же не спешил развеять недоумений, оттого ли, что сам не знал, оттого ли, что любопытствовал, что будет Миша делать, не зная сам, что действительно можно делать.

Это как во сне, когда снится одно и то же, а думаешь, что не одно, потому что внутренний голос ничего тебе не говорит, ничего не подсказывает и ты в совершенном забросе и уединении.

Такое какое-то отеческое злорадство молчащего голоса осетило Филиппова. Если б ещё Солодухин был человек, а то так.

Потому-то они вдвоём, провожаемые Коротинным, показались в дверях не совсем в неожиданности, но и не то, чтобы в полной готовности говорить.

“— Ты что же это, так и будешь стоять? — опомнил Коротиннов Весёлкина, удачно и ловко его втолкнув, с тем чтобы незаметно прикрыть за ним дверь, щёлкнув замком, и вынутый ключ положить в боковой карман.

“— Нет, не буду, — завопил вдруг Весёлкин, кидаясь вспять, но было поздно — Коротиннов очень ловко всё уже поисполнил, — Мне незачем тут, — и забил кулачём о рёбра рафленой двери.

“— Постой-погоди, тебя никто тут не будет нудить, посмотрим лишь на тебя, поглядим, что ты есть, а там уже, по обстоятельствам, что ты захочешь, что мы захотим, вместе, без всякого привлечения. Что ты мечешься на двер`и? — в последней фразе с рокотом, предупредительно, загремел Солодухин.

В других дверях стоял криворотый, косая сажень в плечах, голиаф, весь в чёрном, как эфиоп под звездистым небом, так что не было видно лица и рук.

“— Что ты мечешься, тебе говорю, не видишь, что ли, стоящего человека? — И совсем уже мирно, даже осклабясь и чередуя тон, Солодухин стал говорить о надобности:

“— Тебе только прикинуться, чтобы к Дрёмову подкатить, только надеть кафтанчик и за пояс всех заткнуть.

Это, однако, не подходило Филиппову. Отдавать Весёлкина неизвестно куда, неизвестно на какое время, неизвестно на чьё попечение, и что при этом из этого может выйти? Филиппов задумался.

Солодухин почувствовал зреющее сопротивление, в нём силы вертлявого, на пружинах, проники были свежи, расторможены и дали ему легко уловить набежавшую у Филиппова грусть.

“— Ты не грусти, Филиппов, — царственно и обещающе проговорил он, величественно выставив руку, — мы тебе другого найдём Весёлкина.

“— Я его не отпущу, — решительно, через зубы, протянул Филиппов, давая понять, что это бесповоротно, — это племянник тётки, и я за него отвечаю.

“— Ну что же, пойдёте вместе. Берите сего Атланта, он вас двоих проводит, ибо знает, где яблоки Гесперид, и там в саду, под роскошным восточным небом, как бы это сказать, в веселящем душу цветном раю насмотритесь и наедитесь вдоволь всевозможных фруктовых чудес – и фиг, и маслин, и пальм, — а мне клеточку принесите, золотую, в струнках, с серебряной птицей, вещающей о раю.

“— Чего тебе там ещё? — неожиданно грубо и всхлёт наподдал Филиппов, совсем забыв, что не у себя он, а у Солодухина, и тому может не понравиться переход.

“— Молчи, Филиппов, молчи, не то покажем тебе козу и ещё какого свершим насилия. Делай, что говорят, паче что нету выхода у тебя: дверь вон закрытая, податься некуда, совсем пути

нет, стоишь, отрезанный, отреноженный, омороченный мира ломоть.

Это всегда и не нравилось, это-то и пугало всегда: попадая к Солодухину, почему-то всегда он оказывался взаперти, в отморочке, как будто отваживал кто, отбивал от всего, и память одна только билась живая, как дёргаемая паутина, и на неё только и можно было налечь.

“— Я молчу, я только не знаю, что от того, что молчу, можно подумать, что лучше или хуже тебе от того, что молчу.

“— А мне ни хуже ни лучше, мне хорошо. Ты, Филиппов, не знаешь, как мне хорошо, хотя и зубы на пробуравливание проел, и никто не покажет тебе, с чего, с каким местом ухаптать и слопать доступно было бы Солодухина, — Солодухин подошёл к Филиппову в самый притык, заглядываясь в глаза и вода пальцами в воздухе перед носом сразу пятью, то ли чтобы проверить что, то ли чтоб погугать.

“— Ты что это, наседать?

“— Кто наседать? Я наседать? Чего это мне наседать? Уж и показаться нельзя? — и Солодухин спрятался, будто не был.

Вокруг шевелились древесные какие-то тени, готовые ко всему, вокруг парусом ходили и надувались выворачивавшиеся наизнанку рисунки слов и мысли, упруго вскакивая, изображали саврасую сцену.

“— Я не тебе сказал, я только мимо пустил, парные окончания нагоняют скуку, а ты мне напомнил одну газель. Помнишь, как у Абу’бн аль-Гараби *О голубках на ветках араки, обнявшейся с ивой?*

В обители святой, в просторах Зу-Салама,
В бессчётных обликах изваяна газель.
Я вижу сонмы звёзд, служу во многих храмах
И сторожу луга бесчисленных земель.
Я древний звездочёт, пастух степей, я – иннок.
И всех троих люблю, и все они – одно.
О, не хули меня...

Идите с миром, привет тебе, селям! И возьмите его с собой, Мамаду, он поможет, он защитит, от страсти, от напасти и ото

всех изуверившихся в суете. А я возвышусь над вами, как вечный идол, как истукан, простирающий руку на восток и на запад, двуликим Янусом, ведающим пустотой. Дрёмова охмурить и отобрать у него всю его мередьгу. Слышишь, Филиппов, тебе поручается великая миссия захватить и спрятать. Ты справишься с ней, а Коротинovu – наблюдать, смотреть за вами обоими, чтоб не сбежали и не наделали ерунды, и помните – всех вас троих люблю я, и все вы для меня одно. Как нельзя укусить мне ни одного из малых сих, чтоб не почувствовать боли – и Солодухин выставил три пальца вперёд, — так и не хотелось бы мне потерять никого из вас, — и при этом он укусил себя за один из пальцев.

“— Что в самом деле мы стоим тут и слушаем? Что нового мы узнаём? Что за посмешище? — завопил Миша изо всех сил, тряся окованную железом дверь.

И хотя сопротивление было сломано и дальнейшее теперь оказалось бы вряд ли возможным, поскольку скрутили Мишу и положили лежать поперёк, всё же оно произвело своё действие, давая понять, что не всё так возможно, не всё беспрепятственно, как желается и как могло бы быть.

Солодухин, однако, и это учитывал. Безумию пустоты он противопоставлял всегда пламень сердца, и тревожная весть, если и вкрадывалась, то ненадолго, на какой-то миг, минувя потом бесследно, как если бы не было.

Затем внесли стол с расставленными по нему яствами и розовою водой. Ополоснули руки свои Солодухин и Коротинov и сели есть.

Наблюдая за всем, Филиппов всё более проникался незлобливостью, понимая, что всё это ни к чему, что сопротивление их никчёмно, что как бы ни кричал и ни бился Миша, всё равно силы оставят их, ибо нет им спасения, в их стороне.

“— Будете есть? — неожиданно, может быть, и для себя самого предложил Солодухин, — Если будете, тогда пожалуйста, вам принесут в какой-нибудь другой раз, потому что сейчас все столы заняты и посуды нет.

Также молча внесли и вынесли ещё один стол, накрытый розовой скатертью, с треножниками и вазонами по всей плоскости крышки, походившими то ли на замок, то ли на башни, угрюмо стоявшие одна к другой и не пускавшие видеть ничего между ними.

“— Вы вот, поскольку не знаете, что к чему, постольку блуждаете в диких зарослях, и ножные гады и гниды кусают и мучают вас, — Солодухин отламывал крылышко от попавшей курицы и обгладывал и смоктал, — а я бы, я бы хотел вывести вас из зарослей на просвет, и нечего тут сопротивляться и букать. Коротинов бы вас провёл куда надобно, а там бы вы сами уж как-нибудь, а что нету при этом вам никакого резона бебекать, так это я точно вам говорю.

Двери в комнату, расположенную за плечами гиганта, поминутно распахивались, и в проём вносились очередные подносы и перемены, потому что Солодухин любил поесть и делал это с большим знанием и достоинством. Коротинов присаживался вместе с ним более по обязанности, чем по иной причине, и это было видно на нём: какая-то блудливая прятанная улыбка подразумевания показывалась между губ, ничего не скрывая, но и не раскрывая вьявь.

Это была давняя их игра: Коротинов настойчиво, но не прямо, давал понять, что ему всё это не своё довольно обременительно, а что другое чужое, так и не надо ему, а Солодухин дулся и делал вид, что не понимает, что всё ему не впервой, что занят он и занятия его отвлекают и не дают воспринимать всяческое окружение в естественном его свете.

Это и было, возможно, основанием прочности связывавших их отношений, потому что никто из них не хотел отдаваться другому полностью и только боком одним, одною ногой и половиной только лица, поворачивался к стоящему против себя, а другим всем своим оставался с чем есть, не торопя, не гоня событий, а ожидая только себе своего, сбывающегося и сбивчивого на свету, в неверности перемигиваний и тесноты.

Они оба оставили Филиппова и Весёлкина, словно забыв, словно делая вид, что так, а на деле занятые собой, и мимо ходили и плавали тени не бывших, не чувствующих ничто.

Поднятая занавеска (рука)

Вышли втроем на поляну – Филиппов, Миша и Коротинов и расположились тут. Дом предстал их глазам, большой, каменный с резными решётчатыми оконцами и ставнями с прореху земли.

Из-под слюдяных бивших капель молочайного вереска, повисшего на стенах, сплетались смарагдовые узоры и плавилась где-то внизу, окончая течение лёгкой жизни и обращая её в страдание и тоску.

Струной задетой звенел пролетающий хрущ, кидаясь в сторону обновешего девственного потока, а из него выпрыгивали и плескались сытые полурыбы, поворачиваясь хвостом и боком, будто кто их водил к поднебесью за тянувшиеся стремена.

“— Ну вот, — сказал Коротинов, — дальше самим идти, а я тут обожду. Когда подойдёте, стукните в ставень костяшками правой руки и в подоконник уткните локтём.

“— Не волнуйся, мы проведём, — “проведём” сказал мрачно Филиппов, а сам подумал, не худо было бы и обойти, ибо оболганный сам настраивается и обучается облыгать.

“— Вай, какой жуткий вид, — воскликнул отворачивавшийся Коротинов, увидев дрожащую руку в окне, — это, наверное, Дрёмов или служанка Дрёмова хочет закрыться от света.

На это громкое восклицание никто ему не ответил. Миша с выбитыми желаньями плёлся поникшим мослом, тянувшимся за изголовину на верёвке, а Филиппов, уже спустившись, почти подходил под самую ставню и не слышал говорившего Коротинова, да и не хотел его слышать.

За дверью поскрёбывалось, ворохлось и раздавался идущий откуда-то снизу и нарастающий гул, словно стадо шмелей, заткнутое в тряпку, старалось проникнуть вздымавшийся плахт бытия. Проходя мимо ухом, Филиппов припомнил сразу что-то

печальное, какую-то песнь, какой-то гимн, подходящий к моменту, и гимн этот не был ни утишающим, ни многолюбивым. Видимо, сама любовь, божественная и бестревожная, давно покинула сей обгоревший душевный храм. Настрой и ободины его так не подходили к охватившей печали, не ведая вкупе и радостью с тем, совсем даже не емля ту радость, только лишь расточая округ дремотную и зудливую нудь, через которую, как через кустарник или тростник, больших трудов стоило продираяться, липучими пальцами зацеплявшими кафтанё, отделяться от них, оставляя в них части телесных своих одежд. Травяные обмотины повисали перьём перед головой, давая ощущение мерзости и запустения, крошечной закинутости посреди пустоты.

Тихо вывели брыкнувшую лошадь где-то вдаль, но Филиппов почувствовал, потому что тенью мелькнули коники отгустевшего сна и, пронесясь, где-то там зашорхли.

Затем действительно отодвинулась тёмная муть, пропуская через себя сияния и полоски нажухшего солнечного тепла, не имевшего выхода из кожур, и, выпущенные, они заскакали и засветились, слепя подсунувшегося под них отпотевшего Мишу.

“— Ну что, нравится тебе здесь? Смотри, как тепло, светло, настоящее деревенское ощущение. И мушки прыгают, и солнечные зайчики, и комашки.

“— Я не выношу этой яркости, у меня в глазах рябит, мне совсем даже ни до чего. Какая-то тошнота и сдавливает внутри, я сейчас изойдусь.

И в ожидании, и в позыве этого своего исхода Миша склонился над выкошенной травой и корчился и кривлялся, желая опорожниться.

Филиппов стал, философски упрятывая истинное понимание происходящего, только изредка, про себя, кривя губы в усмешку, по-видимому, чуя, что что-то не то нутром.

“— Остановись, этим ты только более себе досадишь. Давай пойдём как бывало, ни себе, никому другому ничего не сказав. Как если бы ничего не произошло.

“— Тебе легко говорить, а меня тошнит от этой бесстыды. Ты только подумай, ну что за тоска: приходиться и выведывать к Дрёмову, и выспрашивать, и самому ни гугу.

“— Это не самое страшное, самое страшное позади. Теперь мы с тобой ворвёмся и поглядим, что у него, а там и уйдём, и пусть Солодухин и Коротинов себе других выискивают.

“— С Дрёмовым не так просто. С ним тебе не удастся отделаться так легко. Он подозрительный и трусливый тип, и вывернет тебя наизнанку, пока ты что-нибудь сообразишь.

“— Не надо, мне вовсе не хочется обсуждать с тобой все подробности долженствующего произойти, тебе только молча войти и так же выйти, не потревожив ничто ни в каком его виде. Одно твоё присутствие может подействовать раздражающе, — и при этом Филиппов вытянул истончившееся лицо, сощурясь разглядывая Мишу, идущего себе вслед, — поэтому тебе вовсе не следует добавлять к неприятному впечатлению ещё и сказанное невпопад. Я ведь помню, как ты в ресторане “Садко” обсиживал некую подозрительную особу, всю в шалмерках и кружевах, и что из этого вышло.

“— Что это ты говоришь? Никогда ничего подобного не было.

“— Было. Пиво вы ещё взяли и ели селянку с грибами или что-то ещё. И что ты ей говорил, я прекрасно всё помню. Вернее, она не ела, напротив ей было с тобой, хотя начиналось всё ох-ох-ох, бахвалисто, и что ты знаешь, и что умеешь, а официант рядом стоял и прыскал.

“— Не прыскал.

“— Прыскал, потому что ты такой, извини меня, что повторять неприлично.

В это время с крыши откололся кусок шифера и, съехав с ропотом, опустился углом перед Мишей.

“— Что бы это могло быть? — Филиппов сбоку разглядывал павшее.

Показалось, рука мелькнула, кого-то зовя. Миша, не искушённый в таких происшествиях, покраснел густо и отвернулся, чтоб не выказывать нетерпения.

“— Это совсем не то, что должно бы быть.

“— Ничего это не доказывает, — разнервничавшись, заговорил Миша, — ты хочешь быть умным, ты выставляешься, хотя на деле ты глуп. Та особа, как ты выражаешься, была мне сестра, и не ела она вовсе не потому, что было противно, а потому, что не то принесли, грибы она вообще не ест, да будет тебе известно, а что мы с ней говорили, до того никому дела нет.

“— А я и не говорю, что есть. Вежливее было бы промолчать, — Филиппов медленно наклонялся над шифером, незаметно поглядывая на трепещущее в ярком свете окно и на крышу, с которой могло ещё что-нибудь пасть, — ты зря кипятишься, это вовсе тебя не красит, сразу становишься как надутый индюк и шея краснеет, а красная шея, знаешь, это как-то не то, — внимательное изучение помогло обнаружить на исследуемом предмете какой-то обшлаг, место и форма которого заставляли задуматься над возможной причиной свершившегося падения, — во всём должна быть мера и равновесие, никогда не следует выходить из себя, и уж тем более бросаться в расхристанном виде на тех, кто желает добра. Прежде чем разоткровенничаться, подумай, что даёт тебе эта петушиная поза и к чему она приведёт, — в ушибине видны были чьи-то волосы, запутавшиеся клубком. Филиппов не спеша вынул их двумя пальцами — средним и указательным, как будто пинцетом, и неторопливо, со знанием дела, поворачивая на свет, поднёс подозрительное к глазам, рассмотрел и так же медленно, не спеша, сунул его в карман, оставаясь в состоянии такого же лёгкого напряжения мелко крадущегося индейца, как в эйфории охватившего душу лесного восторга, — всё это, знаешь, легко даётся, но мало стоит, ты вот волю в себе встренируй, смотря по неожиданным обстоятельствам, так чтоб не она тебя заводила, а ты ею владел, — и желая показать свою власть над волей, Филиппов, взмахнув ногой, крепко ударил носком по всторчавшему шиферу, и тот, крякнув, упал, распавшись на несколько составлявших его черепин, загогулинами пошла пораненная дорожка, и, отряхнувшись, сбросив немочь падения,

Филиппов снова направился к дому, продолжив прерванный было ход.

— Не выставляйся, это тебе не идёт. Тебе идёт скромное осознание собственного значения с пониманием цены своей и окружающих. Потому что иначе всегда будешь бит.

И как бы в подтверждение сказанным трезвым словам с растяжкой, медленно растворилась прикрытая дверь, словно подслушивавший пришёл ко мнению, что пора себя показать, и на пороге неторопливо выставился бородатый Дрёмов, сперва одной ногой, затем и другой, с короткоствольным в левой руке ружьём и шляпою козырьком.

— Я жду вас, — проговорил, останавливая вытянутой ладонью на расстоянии выстрела. Вышедшая из-за спины служанка, подойдя сзади, хлопала бегло, но обстоятельно Филиппова с Мишей и пригласила войти.

Дверь, когда их ввели, была замкнута на засов, и скрежет гулко отозвался по балюстраде лестниц и переходов. Площадки были выше одна другой, словно вели в небеса к вратам недостижимого рая.

Планы мои – планы ваши

Внутри было холодно и сквозно, словно давно не топили, не затворяли окон. Дуло из всех щелей и стоял недвижимый назойливый гул заведённого потолочного вентилятора.

Взбиваемые в гриве волосы Дрёмова, когда он стоял, встречая входящих Филиппова с Мишей, походили на голову опухаемого ветром грифа, сидящего на горе.

— Я ждал вас. Если не вас, то кого-нибудь, — решил сразу поразить своим знанием Дрёмов вошедших. Но Филиппова не так было просто чем-нибудь поразить, а тем более в обстоятельствах, легко подсказывающих возможность ошеломления.

— Да, надо думать, — неторопливо и убедительно веско сказал он, приглашённый проходить дальше в открывшийся дверью проём. В него проглядывал интерьер со вкусом

обставленного охотничьего домика с картинами сцен охоты и бородами козлов, подвешенных на рогатых тарелках. В плосках горели зажжённые покапчивающие светильники и, воткнутые по стенам, пугали средневековым перевязанные смоляными обмотками фасции.

“— Я жду, — вошел, деловито начал сразу на ровных журавлиных ногах потревоженный Дрёмов, всем видом давая понять, что времени у него будет мало, но за это время надо успеть сказать и выслушать многое, пусть не самое даже приятное и располагающее к себе.

“— Чего собственно ждать, — обстоятельно и с большим предвещанием начал Филиппов.

Внесли на тонком, искусно гравированном подносе кувшин с питьём и к нему три разливалки в каком-то страстном чёрно-серебряном стиле с обводьями и пощербинами по краям.

“— Проект в самом деле заслуживает внимания. Я смотрел его, — Филиппов не спеша, явно располагаясь и желая проникнуть собою в суть происходящего и должествующего произойти, намеревался представить его заранее в более привлекательном и заслуживающем внимания свете.

“— Предположим. Что из этого должно для меня последовать?

“— На это нельзя дать полный и всесторонний ответ без предварительного рассмотрения всех обстоятельств, имеющих отношение к делу. Скажем, если бы при более обнадеживающем разбирательстве обнаруживалась связь, могущая почерпнуть последствий для продолжения начатых предпринимаемых усилий, тогда бы я посоветовал привлечь всё возможное для их предприятия. А если бы нет, тогда воздерживаться. Но это ещё не всё, поскольку для разрешения возникающих в дальнейшем недоумений должно установить механизм их снятия по взаимной договорённости и к обоюдному благу. Пока же такой механизм не определён, можно советовать воздержание от ряда не продуманных и поспешных шагов, способствующих переходу в состояние полнейшей невыработанности и разногласия, могущего стать перманентным. В этом всё дело, потому что я думаю, что

сидение друг против друга в бесплодном терзающем выжидании ни к чему последовательно не приводит, иссушая лишь возможности процветания и развития впредь.

“— Наваром не хотите делиться? — вдруг заявил размышлявший Дрёмов.

“— Навар — дело не основное, главное подстроиться, потому что, если не подстроиться, дальше будет всё хуже и хуже и будут только усугубляться всевозможные неприятные следствия из рассогласованности и отсутствия договора.

“— Я тебе говорил, что не поймут тебя здесь, — сказал нарочито Миша, стоявший за спиной Филиппова, — ты думал, только что приведёшь, и сразу всё будет по-твоему. Наивно было бы полагать. Если каждому объяснять его пользу, да к тому же таким вот способом, как ты это делаешь, долго будешь ещё заниматься впустую этим дурным и неблагодарным делом.

“— Кабы не так. Но, может быть, ты и прав. Мне всегда казалось, что люди понятливее, чем они есть, но я не могу безоглядно сказать, что я ошибался. Нельзя оставлять без надежды, надежда должна быть.

Развешенные картины и гобелены по стенам заволновались, зашевелились, забеспокоились пущенным снизу огнём: вошедший слуга с дровами, метнув охапкой в камин, видимо, не рассчитал, сколько следовало, и, вспыхнув, загудело зло и заходило в метании пламя.

“— Принесите свечей! — скомандовал Дрёмов резко, и внесли витые на корченных подстаканках курчавые канделябры.

“— Зажгите их!

Равномерно расставившись по столам, по нишам, выступам и подрамникам, свечи зажглись, и стало видно и жарко.

“— В отведении тяжёлых минут тревожного ожидания лучше бы было не прижимать одного к другому, а, прикинув, подрассчитать, как же оно бы лучше, чтобы могло, — неожиданно заключил Филиппов.

“— Что-что? Я тут сижу в ожидании, чтобы получить гарантий, а мне говорится о подрассчитать? Кто же должен подрассчитать — или, может быть, Солодухин?

“— Солодухин ничего никому не должен, между тем как дело, обстоящее именно в том, чтобы обстояться, необходимо завести, а для этого вовсе не след пересчитывать вины и перебирать мм... (чуть было не сказал Филиппов чем, но воздержался), чтобы думать, как получить своё.

Дрёмов возвёл глаза, то ли не поняв до конца смысла сказанного, то ли не желая понять, то ли думая, что, сделав вид, что не понял, большего сможет в конце узнать.

“— Свершившегося как факт не вернуть, а можно сказать, что свершилось, — увесисто, почти с громом, воскликнул Филиппов, чуть ли не стучая кулаком.

“— Это бы всё ничего, — вставил Миша, — когда бы ни что другое. Помнишь, как в прошлом году, тоже думали, что всё получится, и подрастчитали, и коней навезли, и шашек расставили, а что вышло? Одна ерунда! Ты всё время берёшь на себя, не прикидывая, что люди все разные, не такие, как ты.

По коридору захлопала птица большим крылом, вроде как курица или сапсан, и в раскрывшуюся было дверь засунулась чья-то большая фигура в плаще. Махнулись шуршащие фалды, перевернули стоявшую вазу и скрылись, зацепив напоследок ручку орлом, так что всунувшаяся отцепить рука, в перстнях над третьим и пятым пальцем, долго шарила и терзалась.

“— Мне наплевать, что вы все о том думаете. Мне важно, чтоб получить своё, а без этого Солодухину и не жить, так ему передайте. Я завтра же наведу шепелявых, понимающих только одно, и мне не надо будет долго их уговаривать, потому что Солодухину самому за них придётся платить.

“— Как быть с транспортом? — живо и с интересом спросил Весёлкин.

“— Транспорт будет, — уверенно, со знанием дела сказал рассеявшийся Дрёмов. Он сел спиной к раскрывавшейся двери, может, на случай, если ещё будет входить кто-нибудь незадачливый и, чтоб заслонить собою возможный конфуз, и чтоб, возможно, при надобности, оградить пришедших от неожиданных вторжений, пригласил и их сесть впереди широким обоим жестом, указывающим на две стороны от себя — в

просторное кресло Филиппову и на диван любопытствующему Весёлкину. На диване ему должно было быть свободно. Не стесняемый в движениях поперечными приставками кресла к сидению на штырях, он мог оборачиваться, смотреть, махнуть незаметно рукою, ничего не задев и ничем себе не мешав.

Выложили детали, словно карточную игру. Дрёмов посапывал, недовольный, но вместе с тем уже начинающий понимать, что не ему придётся за всё расплачиваться, хотя, что касалось прибыли, об этом долго можно было бы говорить. Не получалось так, чтобы без затрат, и расклады не очень фартили дрёмовской суетливой душе, хотя, в то же время, нельзя было быть совсем недовольным, во всём предложенном сказывалась какая-то хитрость, какой-то приобоудный эффект одновременно с расчётом на одного Солодухина.

Последнее не высказывалось явно, не било в глаза, скорее присутствуя как некое предощущение, нежели достоверность, и Дрёмов, будучи по-животному остро чувствительным, дыбился и ершился, но прямо выразить недовольство не мог, не было видного повода.

Оплетая и заводя постепенно в угол, не давая выбиться из отводимого в переборках пространства, Филиппов чувствовал себя опытным игроком, по-охотничьи перспективным. Азарт гонения, страсть заткнуть перемешивались в его сознании с угрюмым желанием вырваться самому, чтобы иметь возможность негласно, но настоятельно распоряжаться собой и ни от кого не зависеть.

— Ты забываешь, по-моему, что твои устремления не полностью совпадают со стремлениями тебя пославшего Солодухина. Тебе не кажутся странными ряд предложений, последовавших от тебя, например, те же рыцарственные подношения трёх процентов. Мне кажется, Солодухин их не имел в виду.

— Откуда ты знаешь, что имел в виду Солодухин, ежели он ничего не сказал? Я думаю, если мы будем полагаться в своих прожектах на им только сказанное, мы далеко не уйдём. Не кажется ли тебе, что это какой-то анахронизм даже в данный

момент припоминать необъявленное и только навязываемое изнутри?

“— Я – что, я только думаю, что тебе будет тяжело в дальнейшем при встрече с ним объяснить ряд своих положений, которые никак не следуют из задач.

“— Учение не догма, а руководство к действию.

Завершив этим свою, нельзя сказать, чтобы доставлявшую удовольствие цепь размышлений по поводу участия, неучастия, доли того и другого, в сознательном и волевом, желательном и императивном, Филиппов вздохнул извинительно и продолжал.

Распоясавшиеся младенцы

А продолжал он натянуто и как-то вынужденно тяжело, тяня по-заведённому не поддающуюся ускользавшую нить, она путалась и сплеталась, не давая себя расплести, между тем как, встревоженные, молчали нависшие на подбородок голубиные мегрелые тени.

Выползли чёточки из углов, какие-то выпуклые, кривлявые и кривые. Став раздуваться до ненормальных размеров, они росли, заполняя собою уже не только углы, но и проступавшие щели.

Бебекающие в маятнике пружины ударили бом и звонили, тряся ковырястый воздух, будто студень, железной своей ногой, и оттого ещё всё мешалось и плыло, не давая понять, что же высунулось из-за суконной стенной завесы.

Сплошь уставленные стояли в прошелье яства. Раздвинувшиеся подноги, на которых ходили повешенные пелены, открыли совсем необычное, неожиданное внутри. По краям округлых грудастых простенков стояли вытянувшиеся фигурные статуи с ружьями на плече и с примкнутым штыком. Словно в зимнем глухом саду перепорхивали по ним то ли бабочки, то ли мелкие птички нектарницы-медоноски, то ли это только казалось, потому что быть не могло, но что-то было, Филиппов видел. Вокруг ещё нависали декоративную паутиной

угрюмки и жердяные вырезки с поплетиною на них, перебирававшиеся и подгвоздающиеся под испод припухлого свеху неба.

На тычках всходила заря, вернее, подобие некой зари, вся в розовом и крупастом, как взнаторевшая лошадь.

“— Наши наихристианнейшие короли, — представил их Дрёмов, сидевших внутри.

Их было трое. Один в широкой присобранной мантии с звонливыми обыдёнными колокольцами, увешанный дорогими топазами и гиацинтами с головы до пят. Широкими полами раздавались на разные стороны голубые мосты, по ним поднимались роями тучи крикливых кайр и далеко-далеко в исчезающей синеве пропадали маслянистым струйным потоком. Другой, прямой и открытый, в застёгнутом передке, с пуговицами по ряду длинных отворотов и обшлагов, в надвинутой кепке почти на нос, с кнопкой на маковке и в перчатках. И третий, линиялый, выгоревший, в распущенной лёгкой пижаме в слегка розовеющую в беж полосу, с небритыми щёками, опухшим лицом и всклоками переверчённых смокших волос. Все трое не двигались, были немые и, словно вылепленные из воска, светились какой-то матовой тусклотой.

Среди них внутри, сидящих на крае ручья, перебегающего от бадьи к бадье, сидели Майоров и Телепенев и несколько ещё за ним, склонённые ликом к воде, словно рассматривавшие свои отражения с удивляющей стойкостью к пустоте и ничтожеству осуществляемого дела.

“— Майоров, — радостно позвал его Миша, узнав, — Майоров, я тебе в выходной присылал цветов, ты получил их, Майоров?

“— Нет, не получил, — отчего-то сказал Майоров, совершенно сосредоточенный на себе и занавешенный.

“— Ну как же, а ведь они были так хороши. В них ощущался весь аромат полей и эта кажущаяся неестественная мечтательность, так заметная на тебе. Ты сколько раз приходил к этому состоянию? Я помню, оно всегда у тебя хорошо получалось.

Способность переключаться и наговаривать на текущую воду с бормотанием и ручьём была свойственна Мише как никому другому, и это было прекрасно известно Майорову. Вместе они кружили, вместе падали, вместе вставали и шли к одному – к общей цели, которая была далеко.

“— Но мой бог, — возопил Майоров, — это уже невозвратно!

Раскрылись двери во внутренний сад, открывший взору кусты пеларгоний и нижущихся орхидей, откуда-то из глубин вытягивались плетями большие нити взбирающихся лиан, по которым удобно съезжали вниз молуккские обезьяны и падающими румяными хлопьями сыпались розы и лепестки. С гиком влетели кучерявые купидоны и стрелами разбросали перо по стенам. Перо втыкалось и тенькало и звенело, как металлическая колеблемая пластина во рту остяка. Герани падали как подкошенные, обрываемые со стебля, и суетились и прыгали белки.

“— Что ты видишь, Филиппов? — спросил его внутренний голос, — Видишь ты что-нибудь?

Филиппов накрылся руками как одеялом и спрятался от слепоты. Его глазам предстали удивительно-странные, не объясняемые сразу видения. Пальмы и острова. И челночные мелкоставчатые катамаранки с длинными волосами в цветах. Вокруг шевелились выраставшие из воды атоллы черепаховыми подблюдными закромами, рифовые извивы невидимых прячущихся в подводе скал и, словно фланелевые холсты, лежали недвижные глади залива справа и впереди.

Вышли косматые головастые люди в низанных ожерельями и впивающимися в кожу раковинами пёстрых гирляндах по рукам и ногам, с большими гривастыми копьями, у кого к полосатому небу, у кого и наперевес. Показались всадниками высокие паланкины на загорелых юных плечах, и в них, как в ореховой скорлупе, пряталось что-то и не давалось, пряталось и не влеклось, искажая сущности представлений о мягко стелющемся травянистом шатре на подскакивающих упругих жердях с поперечинами ивовых прутьев.

Страус выскочил из-за кустов, наверное казоар, какой-то испуганный, встрепанный и слишком большой для островных экземпляров – или, преследуемый, он раздался, подобно дуемому пузырю, или пугать скочил, или сам испугавшись? За ним, в отдалении, показывались тревожные тени напрягаемых голосов, то ли кравшихся вслед, то ли прятавшихся от каких-то других, более динамичных и сильных, от которых, не желая связываться, скрывались. И эта игра в природу, это подобие вечного круговорота, колеса бестревожных и сильных страстей, в своей отъвлеченности, в своей заземленности с её очевидностью столкновений, напоминала Филиппову что-то важное, становую жилу судьбы в неотвратимости следствий последствований.

Вышедшие из ручья кудрявые девы остановили бег природных часов. Казоары исчезли; упали, зашторившись, ниши экологического пространства, оставив всё в терпетной непосредственности и простоте.

Начались непривычные в таких случаях пляски. Колеблющимися декорациями поплыли венки на шестах. Подпрыгивая, затрусили хвостатые гривы вспетушившихся пик. Наверное, гонги забили в освободившемся круге, тревожа жердь подрагивающего на воздухе полотна. И было бы жалко и горестно расставаться, но и участвовать с ними в передвечерней ордали страждущих. Пропускали по накалённому камню, не печась, не подскакивая на угольях, одного за другим, в порядке движущейся цепочки, ища, по видимости, среди себя казоара. Искали и не находили. Тем горячее и тем скорее оказывались под ногами камни, и становилось их больше, подкладываемых, и становились они крупней, и уже нельзя было просто так по ним просквозить, приходилось отчаиваться и кидаться, и прыгать на них с них самих, как на кочках, и все эти бывшие здесь, кружились и хороводились каруселью, так что нельзя было среди них разобрать, где кто, где женщина, где мужчина, где юноша, где ребёнок, где старик, где незамужняя дева, и Филиппову предложили прыгнуть.

Филиппов стоял и смотрел и думал, остановив за собой весь крутившийся, жарко дышащий паровоз тяжело наседавших. Но он

не мог не отстать. По камням его ходить не учили. В нём чувство страха мешалось с отчаяньем, трепет ожидаемой боли – с ощущением казоара, и не было ему выхода из береды. Уставшие ждать и в нетерпении прыгнуть самим, надели собравшиеся и столкнули Филиппова на горящую минеральную плоть.

И тут началось. Лопались привычные представления о естестве, оказывались ненужными, не спасавшими миражные догмы, внушаемые с детства И Филиппов вдруг ощутил себя безусым младенцем, совсем оголённым от суеты, и прыгнул, и закричал, и воп его к небу был не такой уж и безболезненный, как могло оказаться вначале, скорее наоборот, с надрывом, страхом и страждущей возметавшей струной.

И хлопотали вокруг него люди. И на людей они были похожи мало. И лопавшиеся по щекам волдыри их, как пятки ожёгшихся, представляли тревожевшую и непростую картину.

Словно открылись хляби. Словно отодвинулись с шелестом жалюзи, скрывавшие мирно спавшего корибанта, и, вскочив, он запрыгал на головах, заплясал, давя как заразу всякое проявление живости на лице.

Поднял нагнувшийся Дрёмов жестокою свою выю и тупыми глазами задрыг, заклесал. Взметнувшиеся из-под ногтей искры-черти полоснули, оставив метины на телах, словно чиркнули граблями по стене.

Поднял Филиппов голову и зацокал, забеспокоился чужим перепугом и беспокойством, останавливая Мишу, отводя ото рта нагрудного Дрёмова, оплетаясь и приходя в себя.

Над упокойными невидными тенями разбежавшихся в хороводе свербей покивалось, поохалось как-нибудь, порасклюкалось и расхлебалось едва, потому что тяжестью веялось и влеклось. И не было ничего отдушного, простудного, свежего на миру. Были всё те же утрёпаннные мурья, и корявость, и невозможь.

Дрёмов сказал, что хватит, что он себе уразумел, что о чём бы ни говорил Филиппов, нового ничего, и потому незачем пустопреть, что раз надо, надо, и что пора.

Перепутанный Орфей

Длинною проседала прохлада вечера по буграм, и вышел кудрявый Сивцев. Наведённые медленные струи плыли мыкающего восторга, черевателись крутые в шапках потёмок аллеи, вставали бодлом руки пересекающих вётел, не пуская идти просто так.

Сивцеву было душно. От крана стремящихся сверху вершин сливались песчаные ливни и наполняли всего его до краёв, так чтобы не вздохнуть, так чтобы захлебнуться.

По дороге, по которой предстояло пройти, пересеча подвернувшееся под ноги расстояние, протекли лепящиеся друг к другу перекасти-поля, зачем-то ежами скопившиеся у скрай. Затем отпахнулась невидимо дверца, от которой дуло, повеяло напрохват, и вылетевшие огородины встряли над всполем, как души павших, посеянных здесь. Из глубины проступали не сбывшиеся желания, которые он и знал, которыми пыталась давить его подворотившаяся и прохладная муть.

Трепыхнулся ковёр из трав, расстеленный небрежною отъявленной рукой какого-то вновь испечённого не умеющего кромешника с показавшейся над взбугром синеватой сморщенной гремыхнувшей кистью в ногтях, сиренево сжатых от страха, видимо, в ожидании получаемой взбучки. Но Сивцев не видел, сидя, не замечал происходящих кругом изменений. Лицо его сохраняло незлобливую контрастность, и сокрушающиеся першины и вытяжки говорливых теней вытягивавшихся в промежутках пересечений не возбуждали в нём никакого ответного чувства, никакой тоски или желания соединиться с ними.

“— Что же ты, — словно говорили, стуча в ногах подворачивающие души камней, лоя за подошвы и кисточки повисавших бахром, — Что же ты неумолчно плетёшь всё свою, всё одну и ту же накудрявшую песнь и не идёшь к Солодухину?”

К Солодухину не было смысла идти уже хотя бы из-за того, что Сивцев сам к себе ждал Солодухина.

Ночи напролёт, в туманной мгле, смотря перед собой и напрягаясь на перекатывавшийся за окном длинный свет, он передумывал с повторением всё одну и ту же крутившуюся болванку с замотанным шаром пустой воды из ткущихся откровений, не вызволенных признаний, поползновений, не сказанных шепотков.

Сейчас же вскрылись бы, без сомнения, важные и серьёзные обстоятельства, задерживающие на потребу всё. Услав Солодухина, можно было начать разматывать сложный клубок сплетений наметавшего бумеранга, но только услав, — если нет, всё стягивалось и давило упавшей с угла стеной.

Над ним наклонилась животным месяцем протаявшая сквозь тишина и капнула капелькой-угольком. Возбудила вздремавшие было желания. Волосы стягивали полоскавшими стягами сморщки нахмурившейся белизны, и Сивцев встал и пронёс на открывшемся расстоянии свою трёпую голову к восстановленному окну.

Что бы ни случилось, что бы ни произошло, он помнил всегда в Солодухине неуёмный пронём, по которому было узнать его некуль. Откуда в нём были сморчки? Откуда нападали в нём затропоревшие, занехаенные первины, по которым теперь ничего бы нельзя было узнать.

Солодухина знал он давно, ещё с тех тревожных уставленных дней, когда всё казалось большим и нескромным.

Припоминая прошлое, всё более погружался Сивцев в волны катящихся к небу струй, с которых легко сквозили навстречу прямые роскосины хихикающих разворотов, с которых ничто и никак не сутяжилось состязать, только качало и трогало, усыпляя подъёмом избыбшую спинную душу.

“Ну же, — шептало ему взрокотавшее вдруг самомнение, — Ну же, играй! Что от того, что в тебе всё всмятку, что от того, что вспоашилось, встало вкось, если не сможешь ты, разбередивши тоски, обойти убывающего в новине Солодухина, отворотившись от его слепоты?”

И тут вспомнил он, как уплывающим летним погожим днём всё скрылось и сволоклось, а потом же открылось, но в новом свете, в каком-то густом дыму.

“Ты ли это? — спросил тогда басом густой Майоров, напрягшись и наставляя глаз, — В тебе такие несбыточные и пустые мечты, как в банке плавающее остьё.”

С чего бы это он вдруг так сказал? Был ли повод? Что знал Майоров и чего не знал и какое дело было ему до мечтаний и грёз обомлевшего Сивцева? Но тогда всё было иначе. Тогда не ходили следом, а если ходили, не так заметно, тогда и головы были ничьи, они повисали на деревьях с раззявленными зрачками, словно влетела в них зыбучая страсть оторвавшихся половин.

На лужайке было прохладно и мокро и некуда было сесть. Ветром снесло установленный на подпорах щит с “Не трогайте насаждений и не возжигайте огонь”, лежавший теперь лицом, с спиной, пятнастой и голой, в разводьях и заедях не покрашенного задка.

На него, не глядя, установили банки пустых консервов, без хлеба, зелени и питья, и пригласивший всех Солодухин, подмявши ноги, сел на них неуклюже и тяжело.

Сзади и сбоку, по правую и по левую стороны, стали Майоров и Телепнёв, отбросивши круто тень. За ними словно стояли кто-то в казацких шапках и длинных холстах, развевавшихся по краям.

Протянул руку вперёд Солодухин и подержал над щитом. В ту же минуту из банок, отверзшихся с крёкотом, повылазили черви, будто вскипевшие на огне и всползли на крышках шаром или бугром.

“— Что там внутри? — закричал оскорбевший Сивцев, — Что ты внутри напхал?”

“— Я — ничего, это делается мимо воли, я только беру готовое, а продукт, он не зависит от наших скромных желаний, он производится посторонними, то, что ты видишь, это не то, что в нём есть, это лишь сущность, не видимая, но очевидная, её только надо уметь разглядеть. Ты вот сейчас её разглядел и кричишь на меня, на того, кто показал её для тебя, а ведь по-настоящему ни

это, ни что другое тебе было бы неведомо без меня, и без меня ты бы съел эту мокрую рыбу без ничего, как есть, отнюдь не думая, что она в самом деле, ведь так? Тогда что же не нравится тебе в нём, в сём заклепанном сосуде, в котором ничья очевидная сущность не хочет провидима быть тобой? И сиди себе, и ничтожься, и думай праздное и в дурноте, не прощупывая призрака мечты, не ловя себя на ведовстве, не прозябая матового стекла, за которым страх тебе что увидеть. Не своё – и не трожь, и не беспокой! – и Солодухин, складывая надвизавшиеся загребистые руки, словно припрятывая в себя пуховик, толстел, кособочился, раздавался, качаясь кивком будто маятник, будто щёлкавший метроном, а Майоров и Телепенев за спиной его для того и стояли, образуя столбы, чтобы щёлкал он в рамке, чтобы стучался об углы, иначе не ощутимы были бы его цокающие движения, не видимы полосные щелчки.

— Кто ты есть, ты никогда не думал? Червь ты есть, как содержимое этой вот банки, что я тебе показал, — и Солодухин подбросил и банку и содержимое вытянувшимся кивком ноги, прямо в нос ему залепив наклонённого Сивцева, в задохнувшийся сразу нос.

Это было невозможно терпеть. Растрчивался мгновенно запас накопленного терпения, наговоры себе, чтобы не поддаваться, не течь на его поводу. Солодухин опять добивался, чего хотел, смущая скреплённого Сивцева великим смущением подвизнуться и не воздать, ибо воздаяние в злобе было противным Сивцеву, долго и в наставлениях провождавшему день свой, дабы не поддаваться страстям.

Пришлось поддаться, и закаруселившая белиберда скоро схватила и тело, и душу, и даже возвысившийся было над сумерком дух.

Солодухину очень хотелось перебороть в себе Сивцева, и ему это удалось.

Пустыми орехами легко кололась окружавшая их тишина. И щит, и набросанные консервы, истоптанные ногами, представляли по времени странный резной контраст силуэтам нависшей тучи замысловатых густых деревьев. Майоров и Телепенев, не

участвовавшие ни в чём, отошли как бы на второй план и оттуда, из темноты, наблюдали, между тем как Сивцев и Солодухин доказывали своё.

Ничком упала повалённая пронизь воткнутого в щеп шеста, в цветных оплётках и бумазейках, в лентах и полосах, с инициалами честолобивого Солодухина наверху. О ней теперь все забыли, следя за крутящимся коробом, состоящим из поперечин – рук и ног Солодухина, его головы и спины.

Животные помутнения охватили медленно заходящее солнце. Словно оттягивало оно расставание с естеством. Завыли к небу задранные хвосты. Это волки вышли из прятавшихся трущоб, на прощание с перепутавшейся вверху луной. И было всё странно, дико и молчаливо в захватившей дремотной мгле.

Тьма

Ему всё казалось, что можно зарабатывать честно. Что можно однажды прийти и попроситься переночевать, ничего не тая в душе, никакого умысла – ни ограбить, ни поднажиться на доброте, ни подальфонситься. И только смеющееся злое лицо костлявого Солодухина напоминало о мираже, о несбыточности неизжитых иллюзий, утраченной справедливости и забытой тоски.

Оказывалось, что нельзя. Что летающие птеродактили с пергаментными перепонками вместо крыл, кружащиеся, с щёлкающими зубами, застыт свет, и неотвязное их падение не разрешит, нагромождением топорщащихся остовов, ничего. Что твёрдо знающий своё и стоящий на нём Солодухин ни на минуту не отойдёт от избранного пути. Что в тщедушии суеящихся перемен он забыл и оставил по себе что-то нужное, и теперь ни один приходящий не сможет раскрыть ему затаённого смысла тяжёлых вежд и тревожного оцепенения, идущего от утраты.

Сивцев видел перед собой только жом. В завешенное окно его колотилась вервь, отпугивающая летучих мышей. Высокий

столб со шпилем качался порывами налетавшего ветра, и было видно его колыхавшееся нутро.

“Тебе нельзя здесь сидеть. Солодухин охотится”, — подкатившийся сгусток тени оказался Майоровым, нырнувшим из-за купин. Прибегающие по временам то один, то другой знакомцы казались подосланными к нему, чтоб возбудить, видимо, неприязнь навязчивою заботой о ближнем.

Со стуком открылся ставень, и в половине окна опять показалась взлохмаченная голова беспокоящегося Майорова.

“— Ты мне дай на чай, я тебе сообщил полуправду, целую не могу.

“— Что же ты не зайдёшь?

“— Я мимо шёл, я бежал и слышал, поэтому не зайду, поймать могут.

У Майорова, он помнил, был огромный диван. На диване вдоль стен под прямым углом сидели, прижавшись один к другому, спортивного вида друзья Майорова, разговаривавшие между собой. Глухой шепоток перескакивал по губам, шевеля ими, как лепестками, и, будто птахи колибри с длинными тонкими клювами перепархивали с цветка на цветок, носились не высказываемые подозрения обмана и закрытых тем. Острой изгородью, частоколом, с подвешенными головами, местами насаженными на штырь, выпячивались подслушивавшие безуглые тени откуда-то из кривых глубин. Очевидно, видевшие себя самих, только себя напротив, как в зеркале отражение, все сидевшие на диване качались себе навстречу. А может быть, не они, а с ними пришедшие и стоявшие перед тем в передней, наскучив стоять, решили войти и себя обнаружить, противопоставляясь другим, сидящим. Как бы то ни было, их появление вносило сумятицу и беспокойство. Следовало говорить осторожно, не касаясь многого, способного вызвать небезразличное к себе отношение или желание извратить.

Сивцев помнил, как их глухие фигуры напряжённо сжимались и вкрадывались едва ли не в самый рот, когда говорящему случалось затронуть какую-нибудь непростую сторону совместного бытия.

О чём бы ни говорилось, чего б ни касалось мимо идущее дуновение общих струн, всё выпячивалось и простиралось одновременно, и вместе с тем расходились от них круги.

Всё это напоминало сидение у воды.

Простираемые руки сводились и разводились, стояли медленные лучи травы, и сыпавшиеся там и здесь семена всходили лилиями, душа и задавливая своим ароматом, как душат галстуком, повязанным поперёк глаз.

Они постепенно выработали в себе умение говорить, не называя имён и дней, расставляя знаки события кивками и жестами рук, и Сивцеву это было понятно, Сивцев и сам умел изъясняться так.

Он вспомнил, как мокрый бежал по пляжу у края текущей мимо воды, как холодящими пальцами касались воздушные струи его живота и плеч, как рядом сидящие наблюдали за бегом его, шлёпающими босыми ступнями в набегавшей с причмокиванием кромкой реке, и языкатые губы её, облизывая, шевелились, наступами и отступами, уходившими прочь.

Кому же всё это было на руку? Кто с стиснутыми зубами, в остервенении ожидал метущегося по пляжу Сивцева в кромке, кто с медным лбом, нахмурившись, обводил присутствовавших не видевшими глазами, словно шары катал? Солодухину было чуждо это, он только шипел в душе злобным ртом, и, зная, видимо, кто, а может, лишь делая вид, что знал, отнекивался и тупел, матеря на каком-то отсутствии мысли и в безысходности.

Ёрничая, задавал вопрос один глупее другого, учил, а то, подняв руку, вещал как с трибуны такую же патетическую бессвязь. Внизу копошилось кудрявое нечто, перебираясь покатыми головами, словно прибором водил, и не было дела ни стоящему над ними, ни самим собравшимся до произносимых и малопонятных, ветром срываемых слов.

Сивцев помнил наваливавшуюся пустоту, охватившую тёмным жгутом ороговевшее небо. Что-то застряло внутри, пропоров насквозь вздрогнувшее тогда существо каким-то негнушимся остроглазым кием, и, выпершись, смотрел он из

горла, распахнув насильно закинувшийся в отверстие зев, будто надело на вертел забелевшую рыблю плоть.

Неудобно было стоять, неповоротливо. Невозможно было распорядиться собой, заговорить, сказать, что мучило. И так, будто вытянуло и подцепило за хвост, приходилось что-то выслушивать, молча кивать, невольным образом соглашаясь со всем, что преподносилось Солодухиным не от себя, а от кого-то упрямо-медного, трезвонившего за спиной.

Бугры несогласия и неприязни вставали внутри, клокоча и пучась, но выходу было им не закрыто, и так же, как встав, они улетучивались каким-то шипучим пустопорожним газом.

В чём мог подозревать себя Сивцев? Майоров, в окне торчащий, другие кто, приходили и уходили, вытаптывались впереди перед домом посева на палисаде и трава не росла, но что менялось? Всё также знал он про ожидавшуюся охоту, и в этом не было ничего ни нового, ни смурного, потому что стало обычным, нормой.

Солодухин злобствовал, будто выводя по утрам давно наскучившее, обузливое животное, которое само к тому же сопротивлялось. И эта узкая взаимная звериная страсть подогревалась к тому же со всех сторон тёмными настроениями мрачных субъектов, появлявшихся временами то здесь, то там – передатчиков какой-то сиреневато-жёлтой неведомой силы.

“— Ты бы не говорил ничего, сиди себе, — сказал Солодухин, отчаявшись повлиять на события. В нём клокотало всё и ходило как маятник с мелким боем туда и сюда, разбуживая привянувшее сознание в самых разных его углах.

И вдруг, подскочив, погладил его ошалевший Сивцев, как гладят щенка. Лучше бы укусил. Потому что заскорузлomu Солодухину никак это не подходило.

“— Ах, ах, как это по-дурачки, — вильнуло так и сорваться у него с языка, но что-то вмешалось, будто подпавшая голова катящегося из гортани слова уткнулась где-то на подступе к тому самому языку и, запнув, поспособствовала только беканью и невразумительному бобону.

“— Я только что вот хотел сказать, — через время уже, отпихавшись, прошелестел Солодухин, — время идёт, время — деньги, — и, многозначительно возопьяв к небу перст, потыкал им в пустоту, — ты сидишь и ты думаешь, что тебе сойдёт это с рук, но ты ошибаешься глубоко, потому что никому ещё с рук не сходило, и чем быстрее ты это поймёшь, тем к вящему удовольствию это будет.

Суп расплескался, налитый в стакане, оттого что, не пив, только садил подле него кулачём и, топорща слипшуюся клеёнку, полоскал её обо вскрай.

Надобно было сереть, привыкаясь. Наверное, так полагалось по рангу. Но Сивцев очень уж неумело кривил душой. Всё в нём противилось, ища отдушину, всё как-то скукоживалось и волоклось, а сволокшись, пыжилось, пытаясь подняться на прежнее, и не сходило в условленное, тягостно отведённое веретьё.

“— Что бы это ты мне сказал? — Сивцев задрался, и голосом, выводившимся из-за углов, позвенел, повякал на балаболах, как развозимая трень, — ты бы если бы и сказал, так я бы не слушал, потому как всяческое чужое нутро совсем не выдерживаю и на понюх.

Вокруг плыли струи источавшегося от кипения жара, клокотали красные в малиновых медных подбоях выпячивающиеся паруса, звенело, видимо, и вверху, и обдавало оттуда парившим на крыльях духом какого-то прячущегося мелкотного существа, совсем разомлевшего от весёлых слов и теперь подпрыгивавшего пузырьём на вздувавшихся трубах жил.

“— Ты не дури мне теперь, потому что пойдёшь, куда поведут, и сделаешь, что укажут.

И хотя Сивцеву показалось странным бездумное обстоятельство, и хотя в Сивцеве заворохнулось другое, противное ко всему, и крик одолеваемой свободы от надругательства готов был выпасть уже изо рта, и всклокотало всё, возбужая, — однако же ничего этого не случилось. Тихо и мирно с прикрепившимся пастухом присползла отощавшая ночь и, не мекнув, ткнулась упругим дном в отупевшую мурню.

Когда это было

“— Зеба, — говорил Солодухин, выставя по полю обтёртые обшлагом фигуры, — Зеба, ты мне скажи, я могу бить конём?”

“— Не можешь, — говорил Зеба, морщась, — конь ходит буквою ге.

“— Это всё ерунда, ты смотри мне в глаза и скажи: я могу бить конём?”

“— Не можешь, — упрямо твердил своё Зеба, — конь так не ходит, конь ходит на два шага вперёд и вбок.

“— Скучный ты, Зеба, совсем тебе не понять, — и, скривившись, Солодухин ходил по-показанному, зевая в кулак и пряча за спиной какую-то не объявленную фигуру.

Некогда в сиротливом раю, в котором обмылками плавали блёклые тени, а по утрам не проспавшиеся вставали и ползали по белёсым стенам кунтыри, Сивцеву бередила юдоль без таинств и страха, прямая, как половая доска. Тогда всё ещё было ново. Тогда ни сикофант, ни табун канонеровских красных бригад, ни коллективное эхо чьих-то устоев не порошились, не одаривали собой не прячущегося и потому не сгибаемого Сивцева своим особым вниманием и интересом. Тогда всё плыло в своём замедленном естестве, неторопливо и безмятежно.

Молчаливо стоявшие по концам флорибунды образовывали замкнутый круг, трапецию, за которую ничто так просто не выводилось. Посреди стола, как посреди пустой комнаты, рассыпались блошиною позолотой спадавшие откуда-то сверху, будто в чашу, лучи и, распадаясь, жили своей, никем не затронутой, не пугнутой жизнью, как расщепившиеся живоглоты из сна, как распоротые в пух подушки, меняющие облик своих очертаний.

Серебряный молний звон подвешенных колокольцев раздавался над белой площадкой колышущейся без трав. Сивцев, проснувшись, дёргал за тонкий шнурок подвески, державшей перевязь, и звонившее расходилось и стучалось одно об одно, как

в тонкие погремки, как в загудистую кадушку, с перебором крутящуюся с горы.

Мелко-мелко поддрогивал пёсий хвост, защемившийся и отпущенный с ёлки. Растекались по листьям каплями голубые разводы встопорщившихся соцветий и по кустам со взбудом пошаркивали опалые во мху шмели.

Сивцев приоткрыл глаз, закрыл его и потом другой, задёргал веками, морща и хлястая виденное перед собой. Казалось, протянув руку, можно было коснуться дома напротив, набычившихся дерев, кромки коричневой крыши, торчавшей с жёлобом и шиферной междуусобиной, будто обабок взметнувшего вверх жеребца.

Сестра, играя, ударяла по клавишам, напруживаясь попасть в аккорды, и попадала. Звук выходил тугой, в натяжении бивших струн, словно затягивали корсетом издававшую его грудь и дрожавший снурок сам дерзновенно пел, задетый.

На склоне лет приходившиеся старушки тихо молчали, глядя перед собой. Время от времени поднимали голубые глаза и то ли смотрели на Сивцева, то ли мимо него, находя вверху что-то своё для глаз, Сивцеву не знакомое.

Лёжа на гамаке в кривом бездушном пространстве, он думал, будто летит, и, не издавая трясения, не поддаваясь волнам катящегося эфира, переносился прочь, в открывшуюся глубину.

“— Ты представляешь, — мерещилось в темноте, — мне беременность перенесли, тебе ещё рано, ты подожди ещё там, — и опускающаяся шторка не пропускала свет, словно рукой отводя стекло.

Сиреневые пелены опутывали лицо, он бился в них, пытаясь отдвинуть плёнки с залепленных глаз, и тем всё более оплетался.

Наверное, прав был Майоров, не хотя говорить ни о ком плохого, потому что от подозрений кружится голова, а, разрешённые, они всё равно ничего не меняют, ничего и никого не освобождают от сна.

В детстве, он помнил, лица были другие, терпеливее и тусклей, и надо было себя уговаривать, чтоб погрузиться в

пружинистую пучину воспоминаний, как в приболотной почве, просаживающейся и возвращающейся под ногой.

Вот он сидит, прижимая к груди медведя, единственное близкое существо. За окном играет оркестр похоронный марш. И мы тоже умрём, и потому не стоит ни с чем играть, вот только надо бы не забыть с собой щётку, потому что медведя, не чёсаного, не пропускают к людям.

Стоявшие перед умершим завяли, склонивши головы, и запрыгал им по макушкам невидимый неумолчный сверчок, стуча и задирая хвосты волос, как перескакивающим крутобоким лошадам бодливый ветер. И веселившиеся, смутились прыгающие глаза и спрятались, как ускользнувшие мыши, и медленно-медленно, подводясь, поплыл по вершинам тяжёлый просевший шар – видимо, нёс умершего.

Постучали в замолкшую дверь, побили ногой, но сидел он не шевелясь, боясь пропустить мимо тёкшие пузыри воды в дремотном воздухе с опущенной шторой.

За стеной тихо капало их прохуdivшихся труб, звенело далёкое неумолчное эхо внутренних зревших каких-то перемещений, ни на минуту не оставлявшее своей настойчивостью чужих, живущих на той половине, и мерещился голобородый Агенобарб с выпяченною губой.

“— Я разве тебе говорил когда-нибудь о свободе? Разве не странными должны показаться порывы этих неуправляемых затей? Мир не создан для пустоты, а свобода, она и есть сама по себе незанятое пространство. Поэтому посмотри, приглядись, и тебе понравится. Я в этом более чем уверен, ибо воля ищущего и достойного заполняет собой оставляемое место, и оно не показывается уже после того болезненным и осиротелым. Привязанность к допущениям тебя сильно подводит. Дух праздности и суесловия да не примется в твоём сердце, как факел, возгорающийся от другого, и да пронесёт тебя над огнём и бесовская сыромять проносным соблазном пред глаза твои да не станет.

“— Ну что же, взмудрённому тяжким опытом всё кажется увеличенным, не переносимым, и воспаляются злобство и нетерпение, но не они правят миром. А кто?

“— Зачем вы говорите мне это всё? Солодухин прав, когда не говорит. Он искренен. И хоть отъявлен, но он открыт. С вами же как в душевой вате – тонет звук и нет никакого выхода, нет никакой одержки.

Набухший кисель разводили водой и ставили на огонь, чтобы он разошёлся. Густые крахмальные водоросли, однако, в нём оставались. Но может, и не было цели их растворять? Как не было и в другом никакой иной цели, кроме как разводить? Но ведь хотелось и, наверное, следовало что-то делать? Сивцев упрямо молчал, супясь и каменя. Одно за одно цепляло и заходило, так что теперь уже и не казалось возможным всё разделить. “Что мы за люди?” — мерещилось, и всплывало, и пропадало, и снова падало, бередя. И не мог он понять, и не мог ответить на подминавший все под себя вопрос.

Что-то вносили, ставили. Мебель, приобретающуюся по случаю, inferнальную живопись, шаркающие обои. Струйками по стеклу бежала вода, как краска, мажась и пачкая. Спесиво зарились сверху на Сивцева некогда бывшие богатыри с орлиным косившим взглядом и поднятою рукою.

Ярко-ярко вспыхивали пробегавшие за окном трамваи, будто кто-то невидимый их поджигал, и они летели, обдавая палёным полыхнувшую зелень и скручивая подворачивающееся в жгут.

“— Что же это вы так настраиваете себя? Так мало радостей в оборвавшейся жизни, а вы её ещё более осложнять? Первое, к чему надо стремиться, это к полному совершенству сущего. Жизнь наша пуста, почти пуста, и только одна наполненность видимым создаёт ничтожное колышющееся основание для бесед. Я говорю с вами, вы говорите со мной, и только одно это и создаёт тот мир, которого нет. Везувий б не извергался, если б не говорили о нём, могу вас уверить.

Корявые языки желающих говорить повисали мёртвыми головами и картинно хлопали пустыми глазницами на ветру. В

ободьях тяжущихся извержений, одно в одном, заступала муть, будто тонкая пелена, полоса тумана, истекавшая из распёртого рта.

“— Ну, и что же вы мне хотели сказать? Что нового в этом, как говорится, лучшем из миров?”

“— Ни в этом, ни в каком другом. Нет, так не говорится.

Когда силы были ещё свежи и не всё ещё съели на торгу безумного бытия...

“— Что вы хотели? Вы думали, вас призвали для совершения тяжких, но благородных замыслов совершенства? Нет, вас позвали, чтоб съесть. Мало кто понимает эту простую вещь: всё вызывается в этот мир, чтоб быть съеденным. На одном полке остаются глаза, на другом руки и ноги, на третьем тело, всё распределяется, отделяясь одно от другого, и каждый сегмент, каждая отделённая часть, имея своё назначение, естся в отдельности, удобоворя отдельные, к тому назначенные жевалы; каждому жевателю для каждой его жевалы своя назначенная к этому часть. Неужели это понять так трудно? А вы говорите — душа.

Сизенький, сиреневый на руке сидел воробейчик, поклёвывая нити судьбы, очёсками ссыпавшиеся на ладонь, и Сивцеву всё казалось, что можно преодолеть, что можно зарабатывать честно, что всё отъерившееся и всуетившееся, погнавшееся от себя, ещё вернётся. Только вот что вернёт его, он не знал. И каким-то необыкновенным и нежным чувством, будто обёрткой, оболакивал он саднящую пустоту, бывшую вне всяких забот и стремлений, вне поисков и егозы. Наверное, если бы пришли и толкнули, то и тогда бы он не испытал ни беспокойства, ни гнева, замотанный в толстый шарф. Не каждый ли ищет себе такого же плотно сваленного, но не находит, шарфа?

Сивцев опустил заочневшую голову, понимая, что сейчас придут.

Кусты рябины

Миша запутывался в траве. Она росла под ногами и всё удлинялась и удлинялась, будто вытягивавшая тонкую шею выпь.

Постояв на крутом берегу, пощипав для верности лист склонившейся ивы, они пошли с Филипповым отмерять отведённое расстояние, ибо не было им ничего иного.

Внизу протекала река, медленно передвигая воды по скату, словно невидимый кто пёр её подводимой рукой. В ошени стояли приумолкшие кашки, готовые ссыпаться семящей крупой; заливались во ржи овсянки и бегали пугнутые перепела.

— Я тебе рассказывал про кларнет? У Майорова был кларнет, совсем потом не игравший. Потому что в него надо дуть, а Майоров не мог, губы вытягивал, а всё без толку, и мундштук заплевал, и тот ржавчиною пошёл, знаешь, как у садовой лейки разбрызгиватель, — хоть и съёмный, но через время совсем не снимается от воды. Вот так и было с этим кларнетом.

— Это не в первый раз. Я ему уже говорил про то, — Филиппов задумался, проходя мимо бересклета, и, задев ногой, продёрнулся по кусту, будто дождь прошёл. Над площадью насобиравшихся чертополохов в пыли всплыли кречеты, не маша крылом, и, паря над Филипповым, показались Мише совсем большими, совсем предвещающими беду.

— Знаешь, Филиппов, — хотелось сказать, — ты посмотри, может, вернёмся? Но, то ли зная характер Филиппова, то ли чувствуя неотвратимость во всём, Миша остановился, открывшись и не зная, что говорить и как поступить, и не решился. Тем более, что никакого насилия не совершалось, всё было естественно, как и должно было быть, вроде бы как само, вроде бы как незаметным велением свыше.

— Незачем говорить, я всё видел, — глухо промямлил Филиппов в каком-то провидческом освещении, может, себе под нос, а может, на неизъяснимые мишины колебания, которых тот не высказывал, да и не полностью сознавал.

Парило, хоть и не жгло, просто в каком-то маревном ощущении переплывали одни и другие бестелесные пирамиды,

хотя каждая по своему заведённому закруглению, и, натываясь на ближнюю, вызывала в ней блики мертворождённого веянья, не то сияния, и проступаний, как на вспузыривавшейся поверхности отталкивающейся воды.

“— Что бы это мог сизый сделать-то? Когда Майорову припечёт, он ни перед чем не останавливается и бежит.

“— Это я слышал, это мне очень хорошо знакомо и просто можно понять, как это случается с ним в разные времена. Сегодня одно, завтра – другое, и главное, всё меняется на глазах, и вроде оно, и вроде и не оно. Майоров не простой человек, надо правду сказать. То кажется, что поддаётся, то, напротив, что далеко ещё до поддавания.

Листья несомых соединений, колыхавшихся над травой чем-то своим незаметным, ещё раз соединились, так и не дав понять, что ж то было с ними и что они есть. Мише казалось, что не проходящая нега всего окружения как-то странно переместилась, и он ощутил отведение и в себе не окружавшую пустоту, как если бы оказался он на не выразимой, болтающейся синеве, вдруг пошедшей вверх.

Охватившее вдруг волнение передалось ногам, и ноги сами приподнялись, стремя нести на какую-то гору, с которой не было никакого пути, и неведомо было, где та гора.

Проносились бредомые тучи, гнавшиеся из-за руки, и всё сдавалось и волоклось, не в силах сдерживать мешаемую на глазах беспредметную кашу.

“— Майорову хорошо втроём. Вон у него и куры и кролики на селе, и есть о чём хлопотать. А если попался на удочку к Солодухину, так есть ведь из-за чего и стараться.

Филиппов подумал над этим мишиным заключением, заметно мотнув головой, но не извлёк из него ничего для вящего продолжения, только искоса глянул на Мишу, оборотясь, и пошёл себе дальше.

“— Думаешь, продадут? — продолжал тянуть своё Миша, не останавливаясь на безответном филипповском проступании.

“— По небу полуночи ангел летел. И тихую песню он пел, — проговорил Филиппов и засвистал.

“— Ты бы не мог остановить на скаку коня? — вдруг обернувшись, спросил он подошедшего Мишу.

“— Не пробовал, — искренне признался Миша, выпятив губы в трубку.

“— Я и не сомневался. Это я так спросил, для пушей важности, потому что если б пришлось, то было б глупо и спрашивать. В отместку за бесконечное невезение мы с тобой, придя к Майорову, бутылочку разопьём. Ты как думаешь, попросим мы у него открывать ножом или возьмём и пробочник?

Миша представил, как пробочник с приседающим скрипом вкручивается в нутро бутылки — так жуют не поддающийся на зубах пенопласт, и стало вдвойне противно и от болтающейся там потом на поверхности пробки, кусков опроставшегося внутрь жмыха, и от скрипа стеклянных стенок при вытягивании наружу обрывающегося пробочного куска.

“— Нет уж, лучше ножом, — решил окончательно Миша. Мягкая пробка взрезывается как слива, медленно, но уверенно отстаёт — как восковая корочка, как белёсый и лёгкий налёт, и нет этого опустошающего душу знудья, нет потом пробочной грызлой рвани, всё хорошо и всему своё место.

“— Майоров, ты думаешь, даст? У него, если что и осталось, так ведь зажмёт.

В Мише взросло вдруг неприязненное чувство к Майорову, хотя он давно уже его не видал. В последний раз они встретились в самом начале марта, тогда ещё у Майорова не было стольких забот, он как-то даже освободился, легко дышал и можно было легко заглянуть в его открывающийся и закрывающийся, хватающий воздух рот. Мише тогда показалось, что Майорову чего-то недостаёт, чего-то существенного, без чего жизнь не жизнь, одна рыбаь вздыхающая тоска. То ли он потерял кого, то ли в нём ещё не созрело известное чувство обладания суетой. Суетность прыскала изнутри, как хорошо проваренная сосиска.

“— Ну и что? Ты мне про Майорова не говори. То всякое что до кого, до него не относится, — вдруг ни с того ни с сего сорвалось у Филиппова, после чего он смолк.

Бледные линии каких-то толстых выгибающихся перекатов всходили над вспухшим пластом воды, и было видно усталых рыб.

Почему-то казалось, что листья и эти деревья уже встречались; наверное, в талом сне, когда всем своим кисточным существом ощущаешь дремоту растворяющейся грозы с переходом в прозелень, в погромыхивающую бубённую медь, и нет её, и предчувствуется она как накатывающая на камень в воде доска.

“Засобирался я, заскучал в ожидании привходящей мегеры, и знаешь, что я тебе скажу? Нету глупей положения, чем моё, — вспомнилось Мише признание Сивцева в пыли какой-то неясной прилуки, — я сижу и жду, и каждому привходящему то своё, что положено, что ему надлежит, и мне, и Харитонову, и в вечной муке и Солодухину.”

“Ты понимаешь, что я тебе сказал?” — хотел возразить тогда на объявление Миша, но не решился, всё в нём как-то заволокло, замолкло и не рассталось с телом, — “Я тебе сказал, — про себя уже продолжил Миша, — я тебе сказал, — приготавливаясь к решительному, тянул, — я тебе сказал, что не всё, далеко не всё должно поступать и действовать, как твоя мегера, и даже она, если б ты мог, была бы совсем другой, но для этого надо кое-что значить!” — Такую несомненную фразу проговорил он тогда про себя, но не сказал, не успел, да и не намеревался сказать.

В низине на тонких ногах передвигались шаги командора, и он весь, опущенный в бестелесную твердь, производил впечатление мимоходящей жути, словно по небу, спустив свой шлёп, неслась перебранка королевского гона.

И вышел сеятель да сеять, и открылось ему безграничное обетование дающего, и стал он сыпать зерно, и оно не всходило, и, удивлённый опущенным сожалением, сам в себе, долго стоял он над колыхавшейся бездной без сна, словно, надремавшись, проводил остаток бездумной ночи и не решался сказать, отчего это так всё, отчего в глухую полночь не ухает филин, отчего порскает где-то в себе неясить, не вылетывая на стремнин`у,

отчего, посеяв, не всходит, отчего по-дурачки наклёпывает в доску голыдь и не хочет расстаться в игрании с нею.

Так и Миша в одревесневшей тоске с Филипповым и шёл и не шёл ловить Сивцева на неловко отпущенном слове.

Невидимые чудеса

Наплевали подсолнухами большое пространство. Не подмели. Не подменили ничем испорченную гардину, подрав в четырёх местах. А потом от тоски закурчавили волоса, будто на плойку, на бумажную бигуди, и ходили, принохиваясь, приноровливаясь и брезгливо морщась на отстоящие купы дерев. И потатакивали, и цокали, щёлкая птичье острым в буравчиках языком, и вавакали, воя волком, и, задрав глаза, бесстыже пялились в хомуты небёс.

Остановился в замахе Сивцев, съёжив губы и рот в скобу, и закричал себе по-соловьё, загойкал.

По лесу глохт пошёл, по чашобе. Все скрывавшиеся повыскакивали, повспрыгивали, и, если бы не Сивцев – другой кто был, накинулись бы и съели. Но его присутствие всех останавливало, безумие отступало и, раззявив глаза и рты, с немым укором кололось на двое, боясь всешуршить в нём звериную неумность. Оттого и Солодухина не было среди них, что Сивцев, как разойдётся, не мил и колотит всё, что ни попадёт. То ли в нём некогда леший жил, то ли в сопротивлении выработалось в нём нечто такое, иных сторон, незнакомых простому смертному, пугающих всех отъявленной пустотой и небрежением правил.

То отдавался он созерцанию, впериваясь часами во тьму и не видя, то, вскочив на пригорбок поваленного корья, гудел, содрогая в себе мировую скорбь, откликающуюся на всё, то, не веря себе самому, погружался в молчание, как в волглую тьму, и отдавался глухости, как отдаются тупому самодовольству. Вокруг становилось тихо. Всё замирало, вслушиваясь, и вместе с Сивцевым тянулось к тяжёлому невидимому концу.

Филиппов приподнялся на носки посмотреть, есть ли кто там внутри, и ничего не увидел, только в расщеп показалось что-то круглое и исчезло.

По скату крыши сползли две капли, упали сверху на разгорячённый лоб.

Миша смахнул слезу, проступившую от бесконечного всматривания в плывущую оголь, и подошёл к доске. По шершавой плахте её, походившей на коротко стриженную верблюжью шерсть, можно было, вода, почувствовать едва ощутимый раскол, случившийся от падения. То ли гвозди не выдержали, то ли разъехалось что-то внутри, то ли слишком тяжёлым был подцепившийся груз, только доска ущерблась и, расщепившаяся, стояла в углу.

От перегородок отделился медленно взбитый клок и поплыл навстречу.

“— Вы пришли, — с неожиданным утверждением заявил он, — я рад за вас, вас ждали, и широким жестом, словно раскрывая объятия, в которые никого не пустил, то ли приветствовал, то ли указывал вход.

“Мы тоже”, — хотел было сказать ему Миша, но спохватился, что это будет совсем некстати, и потому ничего не сказал, остановился в раздумьи, разглядывая стоявшего впереди. Филиппов рядом.

Это был невысокого роста смуглый брюнет с далеко расставленными глазами и узким носом, всё в нём казалось издержанным, взятым на время, и одно к другому не шло. Но не это остановило Мишу с Филипповым. Какая-то подозрительная, скособоченная вёрткая прыть, словно желавшая прыгнуть из сердцевины и ухватить, прежде чем успеешь понять её.

“— Вы не могли бы пройти первым, — не нашёл осторожный Филиппов ничего более подходящего, чтоб сказать.

“— Первым? Я никогда не вхожу сюда первым. Впрочем, ради вас, — и как-то нехотя, накрепясь, словно следя избочь за ними обоими, он вошёл, отступив, однако, почти сразу на глубину и став изнутри у двери.

Филиппов попятился было назад, но сообразив, что это выходит совсем нелепо, вошёл.

По стенам развешены были картины, едва проступавшие из темноты, и оттого казалось всё как бы придавленным, поскольку неясны были изображения на них, только пятна, поддерживаемые в чём-то едином, словно плававшие на воде.

“— И чего бы это вам так корячиться? Чего бы не сразу прийти? — благодушно, но с каким-то намёком сказал вышедший им навстречу из третьей двери. Две двери были одна напротив другой, а та была третьей, и вышел он как проступил, словно бы на поверхность ещё картиной к висевшим в раме, и с неотчётливым изображением, как и те.

“— Наше дело не наше, да к тому же не срочное, — отвечал в глубину Филиппов, не сумев разглядеть проступившего, однако же не испытав при этом особого неудобства.

“— Знаю, знаю, чужое, оно не своё... Как вам будет приятнее расположиться, здесь или, может, в саду? — спросил их встретивший, имея в виду под *здесь* ту комнату, из которой вышел.

“— В саду будет лучше, я полагаю, — решил Филиппов при входе. В комнате ему не показалось: заставлено и занавешено всё и некуда сесть.

Вдоль стен стояли шкафы и шифоньеры, содержимое которых было так же неясно и смутно, как висевшие перед тем картины и как сам вышедший им навстречу. На диванах и креслах громоздились коробки, и слоями и грудями сверху лежало носильное, замятое и перекрученное, отчего получался в каждой своей отдельности свой собственный и неповторимый вид, так что нельзя было бы одно с другим перепутать и легко и верно находилось необходимое.

Однако Филиппов вошёл сюда совсем для другого, а не что-то искать, поэтому он сразу решил, что это неподходящее будет место. К тому же пол тоже весь был завален и крайне нечист. Филиппову не часто приходилось видеть подобное, и он был весьма сконфужен.

“— Значит, в саду? — проговорил супротивник, — Ну что ж, я это предполагал, — и опять каким-то намёком просквозило в том, что и как сказал.

Повернувшись на каблуках, он размашисто, будто шёл на лыжах, приседая при каждом шаге, пошёл к двери. Это была уже четвёртая дверь, открывавшаяся в какой-то разор, повешенный на перекладинах ветвей и сучьев, называвшихся дерева, и начинавшийся сразу в решечной раме дверного стекла. Деревья напоминали сосны. Тем, что были голыми снизу почти до самого верху и там махали всем своим собранным, как тряпьём. Тем, что комочками рёбр, торчавших заместо крыльев листвы, пугали как ошестиненные ежи, и тем, наконец, что слоились в стружьях.

Под одной такой как бы сосной стоял сиреневый многоугольник и на нём посуда — две чашки, кофейник и ваза со жмыхом внутри, перемежающегося, жёваного какого-то цвета и столь же неявной формы.

Вокруг стола расставлены были в тяжёлом порядке, видимо, выжидавшие съесть, не навстречу друг другу, не отвернувшись, но и не кося, а как-то неопределённо скованно, кресла. В них в каждом было прикреплено по приветственному обращению-адресу всем вошедшим — и Филиппову, и Мише, и вшедшему с ними.

“— Прошу садиться, — и каким-то картинным жестом, вторым уже неестественным и широким, не соответствовавшим ничему из происходящего, он пригласил их сесть.

Сели. И сразу почувствовали себя неуютно, как будто сели во что-то негодное, не подобающее месту и времени, во что-то не то. При этом ёрзать не удавалось, переменить ногу в таком положении не представлялось возможным, и всё было глухо и кинуту, словно силы, и до того не очень-то бывшие, окончательно вдруг оставили, о своём размечтавшись и с них спорхнув, с Филиппова, с Миши, но вовсе не с того, кто был к ним приставлен. Тот, напротив, почувствовал необыкновенную ловкость и даже прилив, принявшись размахивать расставляемыми в жесте руками как заводной. Даже жалко стало смотреть через время на то, что не может он остановиться, и

Филиппов внутренне пожалел его. От того наступило некоторое у него облегчение, как будто зажимы, не все, но размякли.

Если б Филиппов был склонен к аналитизму, он не преминул бы воспользоваться сим обстоятельством, чтобы продолжить сопереживание и проверить тем самым, не было ли в этом что, не скрывалась ли ненароком именно здесь зарытой собака, чем и распутать оплётший клубок. Но ни Филиппов, ни Миша, к вящему сожалению, не были ничем подобным одарены, и потому пребывали в таком же стеснённом с собой разладе. Между тем как приведший их добрел на глазах, становясь всё более амбициозно нервным, что проявлялось в какой-то теперь неостановимости, в каком-то просторе, завладевавшем, по видимости, всеми углами его души, так что ничему другому места не доставалось, и, вытесненное, оно выскакивало из него, как выпархивают выпускаемые по одному щеглы из открытой на волю фортки, выпархивают и, прежде чем дальше лететь, оправляясь, застревают на ветке, в опьянении и раздумии воли.

Освобождённый ото всего, сидевший стал похож на резиновый выдутый шар или большую грушу, повешенную на крючок. Он подрогивал и качался в предвкушении чего-то долженствовавшего произойти, и не сам, а каким-то наитием возносился вверх, дуясь и тучась от распиравшей его пустоты.

Всё, что он говорил, не имело места, не привязывалось ни к чему, оно просто шло от избытка распиравших, распотрошённых чувств или, возможно, других каких-то его состояний, которые по-другому следовало бы назвать. Но Филиппову было не до верных определений и проявления чувств, он затруднялся бы уже, видимо, обозначить точно и собственное своё положение, и Миша, при всей его прозорливости, вряд ли мог бы ему помочь.

Так и сидели они невзрачно, невыразительно, отчуждённо каждый от мыслей своих, забыв, с чем пришли, поддавшись какому-то ветру, стихии, непредсказуемо, по наитию, вдруг охватившей и смявшей, повергнувшей их под себя.

Быть может, в этом и состоял обман, в который их вверг вошедший в ту третью дверь. С помощью ли его всё случилось,

сам ли он был тем двигателем, который всё приводил в движение и действовал, заводя и пуская невидимые колёса, только и Филиппов и Миша были подавлены почти совершенно и их никак нельзя было уже распрямить.

Между тем на глазах их совершалось, происходило невиданное, неслышанное до сих пор: из человека делали куклу, вернее всё это происходило в нём самом, в человеке, без заметного с его стороны, однако, участия, он только размахивал сильнее обычного да щёлкало что-то в нём.

Расподобление наступило после, потом, когда было поздно и ночь спустилась туманом с гор, окутав всё виденное перед глазами в какую-то опять не различимую муть, из которой лишь проступали неясными очертаниями и купы деревьев, стоявшие верхохлестом, и листья травы, мельчившейся и пропадающей под ногами, если по ней ходить, и многогранник сиреневого прежде стола, с чашками, кофейным жбаном и жмыхом в вазоне, и видимые, проглядывавшие между стволов поначалу дали, — всё это, запропав, как задёрнутое гардиной, бухнуло вдруг и распалось. Распался и сам до того махавший и кричавший громко, громче сил своих, видимо, сопроводитель и двигатель. Распался на части и шестерни. И только Филиппов и Миша оставались ещё некоторое время сидеть, словно пришипленные, словно усаженные в углу, и головы их, как носы, торчали над воротничками.

Приблудные

Пришли, пришепётывая, два страуса на задних ногах и нагнулись, и были видны над ними длинные тени султаном и пышный фейерверчный восход.

Отодвинул ногой настоявшийся стул Солодухин, как пнут, не глядя, походя, подвернувшийся на пути табурет, и стул упал, запрокинувшись, захохотавший подросток.

“— Я что ему говорил? Я к чему волок всю эту взбутетень? Чтобы Сивцев надо мною куражился?”

И не было сил перервать фонтан.

В июле так жарко прядают занавесившиеся кусты, так нескончаемо тяжело проносятся звёзды взрывающихся лампионовых фонарей раскалённого гуда, журчит и корявится в голове и не собраться, потому что в зажатых глазах скачут зайцы горячечных отображений.

Может, от этого так остервенело, с таким запалом, с таким раздражением кричал Солодухин перед собравшимися вокруг, а они стояли, сомлевшие, словно пятна, растёкшиеся по стеклу, будто пальцем водили в напаренной, напряжённой комнате и каплями те протекли, пропрели, усталые, проволоклись.

“— Вот оно, козиродство под соусом пармезан! Я говорил им, чтоб не метались, и возымело действие? Нет! — и при этом *нет* он потряс кулаком, точно желая выбить из них эту дурь, из тех, что были в его кулаке.

“— Что открылось, — вмешался стоявший поодаль и захотевший вмешаться какой-то длинный и вытянутый с шеей хохлатого журавля.

“— А что открылось? — напрягшись, спросил Солодухин с остановившимся наверху кулаком.

“— То и открылось, что Филиппову нельзя было доверять. Он не просто испортил всё, он ходил испортить.

“— Я мог бы это предположить, — в раздумии Солодухин сел и, потянувшись рукою к лежавшей курице, взял её пальцами в сверкнувших в глаза перстнях и разорвал, отделив полноги с бедром, — Это надо было предвидеть, — продолжил он в том же тоне и отправил в рот, отделивши, провисшую пластину куриной ноги.

“— Мало этого, — желая поддакнуть, вавакнул вмешавшийся, — всё было неблагоприятно, так Филиппову наплевать, он полез напролом и своего добился.

“— Что же мог он ещё? Филиппов, что хочешь, сможет.

“— Сморчок, — подтвердил кто-то из впереди стоявших, и подтвердил как сплюнул.

“— Не так всё это досадливо, как противно. Всякие его эти штуки.

Если бы здесь стоял с ними Филиппов, ему небезынтересно бы было узнать, что собственно имелось в виду под этим. Но его не было с ними, и оттого ещё более откровенными и раскованными оказывались признания некоторых его знавших и теперь в несколько свободной манере о нём высказывавшихся.

Отсутствие создавало определённую несвободу, однако, самому Солодухину, и он вскоре это почувствовал, потому что ему стало доставать материала ко всеобщему обсуждению. Он начал повторяться, и это бы было слишком заметно, если бы не переменчивость тона во всём, что от него исходило. И по привычке к качанию и перепадам, словно бы на волнах, ему легко удавалось, лавируя, обходить и острые углы, и несурязицу сложившейся обстановки.

Вяло текли минуты, перекатываясь через край окружавшей завесы к собравшимся внутрь, и наполняли комнату каким-то лёгким едва различимым звоном, так что и Солодухин, и все оказывались пронизаны им и одновременно подталкиваемы соскакивающими толчками.

“— Нет чтобы как порядочный, самому, прийти и во всём сознаться, так всё за спиной, невидимо, скрытно, а потом только и узнаёшь от кого-то, что тобою воспользовались.

Тот, кем воспользовались, был очень похож на того, за кого себя выдавал, и выглядел обойдённым. С него свисали лохмами не свои, какие-то чужие старания, словно бы позаимствованные по уговору или же в связи с предстоящей игрой, и были они неестественны и как-то к нему не шли. Декорацию дополняли вспухшие сожаления, слева и справа по сторонам головы, словно букли или же судейский парик, в котором он выглядел какой-то полуовцой.

“— Кто из вас видел последним Филиппова? — решил допросить Солодухин собрание для порядка, потому что в нём зрело неясное осознание чего-то несостоявшегося, незавершённости и пустоты.

Откликнулись двое. Они пришли сюда в сапогах с вправленными внутрь штанами, и их штаны, как шаровары,

пузырились и волновались придвигающихся в них ногах, при каждом их шаге, видимо, сделаны были из такой материи и представляли собой самостоятельную и зависимую пространственность.

“— Ну? И что? — спросил Солодухин, откинувшись и сложив руки на животе.

“— Он пробирался крадучись, как если бы кто гнался за ним, и вот теперь, поотставший, больше его не преследовал, но надолго ли?

“— Да, это весьма интересно. А не заметили ль вы чего подозрительного?

“— Подозрительного было достаточно. Можно было подумать, что он напрягся весь и только ждёт со стороны нападения, а когда его не происходило, то и напряжение должно бы пропасть, но ведь не пропадало...

“— Это весьма подозрительно, — резюмировал Солодухин, довольный тем, что добыл ещё одно доказательство против Филиппова.

“— Ну конечно, теперь бы и можно начать...

И все стоявшие пожались, помялись и в ожидании того, что должно было произойти, присобрались несколько, подобрались и стали даже как-то меньше занимать каждый места, как показалось.

“— Чего начать? — спросил Солодухин, словно разыгрывая из себя некую неведомую первозданность.

“— Ну, начать то, что всегда, — продолжил проговоривший и, испытав отчего-то неловкость, почти замолчал, — Я имею в виду позвать и натывать, — не сразу закончил он прерванную им было нить.

“— Натывать?

“— Ну да, натывать, натывать или как-нибудь там ещё...

“— Это стоит обмозговать. Как вы думаете? — обратился ко всем Солодухин с какой-то сердечностью, словно речь шла о чае, о том, чтобы выпить и закусить, или о чём-нибудь в этом роде.

“— Я думаю, это несколько преждевременно, может, стоит повременить и понаблюдать? — нерешительно и с каким-то сомнением в тихом голосе, вкрадчиво произнёс один. Он был в тёмно-зелёном кашне и обёрнут им наглухо, словно боялся простуды.

Все обернулись к нему, подчеркнув тем самым несвоевременность предложения, некоторые — даже его неуместность, когда, пожав плечами, с открытым и ясным взглядом обратили лицо своё к Солодухину. Но Солодухин смолчал.

Могла наметиться профилипповская поддержка на основе нового настроения, и следовало её уловить, чтобы вовремя либо пресечь, либо направить. И занятый этим всерьёз, Солодухин напрягся и оттого молчал.

“— Наблюдать? — наконец произнёс он, словно взвешивая последствия того, что могло и должно было выйти. — Наблюдать — это хорошо, — выдавил он из себя сакраментальную фразу, которую следовало запомнить, чтоб произнести потом в другом подходящем моменте, — От наблюдения не убудет, но, впрочем, не может ли это вдруг оказаться лишним, особенно в нашем случае, который к сему не располагает? — медленно, взвешенно, вдумчиво и даже несколько нараспев принялся проговаривать Солодухин, слишком, пожалуй, пространственно и обстоятельно для себя, привыкший к тому, что краткость — сестра таланта.

“— Мда-а — промычал тоже певуче кто-то из рядом стоящих и, видимо, был некстати, как и до этого бывший, потому что все натянулись и напряглись, а на него посмотрели искоса, как-то таинственно, более для себя самих, а некоторые совсем уж неявно.

Солодухин отчего-то смешался на это *мда* и всё с ним последовавшее, а, смешавшись, отвёл глаза и смотрел теперь ими в одну перед собой лепившуюся и прыгавшую, видимо, точку, потому что глазами тоже лепился и прыгал за нею следом, весь, будто заяц, косивший полем примятой ржи.

Вокруг что-то сомкнулось, что-то заскочило одно за другое, образовав преграду, и не так уже всё гладко шло, как

перед этим, стопорилось и застревало, мешаясь, и простые и ясные до того решения теперь так просто не проходили. Надо было что-то менять. Солодухин это почувствовал, а, почувствовав, огорчился, потому что ему непросто было менять раз предпринятое и задуманное однажды. Он вспылил, вернее готов был вспылить, поскольку знал по опыту, что не всё, далеко не всё следует объявлять, что охватывает тебя в тот или иной момент, потому что, если вдруг объявить, то не ждущие этого и сами к нему неготовые разойдутся и отпадут и даже если не отпадут непосредственно в тот момент сразу, то потом отпадут и поздно будет ловить их и привлекать обратно.

Намерение его было неизменно. Оно в основном было неизменно, в прочем, т.е. в деталях и исполнении, оно должно было перемениться, перейти в что-то иное, чего-то добрать, стать другим. Может быть, даже до неузнаваемости чем-то другим, потому что не могло же оно оставаться таким, которое не приемлют.

“— Да, так вот, — промычал Солодухин, явно оттягивая, потому что не знал ещё, что сказать, — Я тут подумал над вашими предложениями и могу заявить, что я противник неоправданных мер. По-моему, будет достойным и справедливым, если мы не будем спешить с принятием окончательных заключений по этому, равно как и по-другому какому вопросу, буде он предстоит. А напротив, откроем счёт, будем вести наблюдения и записывать, отмечать и фиксировать всё, ничего из внимания своего не упуская и ничему не давая предвзятой и непродуманной спешной оценки. Я так думаю, — заключил он всю сказанную и весьма непривычную для себя длину каким-то невыразившимся, поперхнувшимся жестом, но наделавшим много шума и сыгравшим едва ли не самую основную во всём происшедшем роль, — Я так думаю, что ничто же сумняшеся, — и поднял палец.

“— Да, это справедливо, — раздались голоса, — с этим следует согласиться. Этому следует придать определённую значимость.

И с чувством свершённого долга все разошлись, оставивши Солодухина в несходственном уединении, только двое бывших его при нём.

Они для того и сходились, чтоб, поговорив, определиться, как говорили, согласовать между собой то-другое, чтобы не действовать несообразно. Теперь, когда стало ясно, незачем и было стоять, потому что каждый почти из стоявших в душе Солодухина не уважал и почитал его за некую пустоту, промежуточное пространство, но поскольку, кроме себя самого, за такую же промежуточность и несовершенство почитал собственно и любого другого из здесь присутствовавших, мирился с ним, ибо не он, так другой кто, не лучший, а может, и худший, занявший место его, будет ещё повредней, понеотвязчивей, а ещё, того и гляди, вдруг заставит делать что-нибудь несоответственное, как-нибудь поступать эдак неусмотрительно или бесстыдно, и, почерпавшись, потратившись, начнёшь потом обо всём жалеть, начнёшь не уважать себя и бояться всех, и жизнь кончится, спокойная мерная жизнь.

Оттого и разошлись они с чувством свершённого долга, не потревоженного и видимо оставленного нетронутым при себе. Оттого и ушли они, не побудившись, не обеспокоившись никого обаять, как, растаявши, растворились.

Роковая часть

Лумнёв был воспитываем в лучших традициях коломитовской рукомоной морали. Ему всё давалось быстро и хорошо от какого-то искрога сердца, от полноты душевной, от вроде как некоего избытка. Когда бы ни заходил он, с чем бы и с кем ни являлся, открывалась дверь и всё выносилось, легко и добросердечно, как лучшему, только лучшее, самое наиновейшее и распоследнее, первосортнейшее и отборное, что говорится, одно в одно.

Лумнёв оттого и не знал никаких забот, никаких тягот жизни, никаких неурядиц и житейских несчастий. Безоблачно,

мягко, нежным дуновением ветерка, незаметно касалась она его, так, что он, собственно, и не знал даже, что касалась, и не подумал бы даже, что что-то его касалось, что даже было что, что могло касаться.

Не за какую-нибудь там абы что или как-то так, а по совпадению только было всё так у Лумнёва. Совпало в нём и, раз совпавши, потом то ли стеснялось неловкостью его обойти, уже осетив однажды, то ли забывчивостью осталось и не пошло себе отчего-то даль, только всё и было, и Лумнёв не чувствовал и не сочувствовал ничему иному.

И к такому вот мармидонту вдруг объявился Сивцев в поисках заблудившей зари.

“Я сижу около своего окна, а мимо проходят люди, мимо коржами таращатся их углы, по ним, как по затылку, ползают мухи, и в мухах нет правды, в них одна падаль, и свет, исходящий от вечера, они заполняют своей тошнотой, своей серой грязью, гнилью своей”, — что-то в этом роде Сивцев сказать приходил. И сказал бы, если бы у Лумнёва вдруг оказалось время ему. Не оказалось.

Они посидели один против другого, поохали, порасплёскались один перед другим, вернее Сивцев расплёскался, а Лумнёв смотрел свои ногти. Не то, чтобы они были у него не в порядке, скорее напротив, и не то, чтобы не той были формы или длины, какой-нибудь неподходящей и не идущей ему, нет, Лумнёв был скорее доволен длиной и формой своих ногтей, в них, видимо, что-то набилось или же отслоилась какая-нибудь заусенца, потому что, внимательно их изучив, Лумнёв принялся обрабатывать их и смотреть, отставляя, перед собой.

Сивцеву никак не удавалось перейти к самому важному для себя, отчего он ёрзал и мялся, не будучи в силах себя сломать, с тем чтобы сказать всё беспокоившее его, и он сидел, и Лумнёв спешил уходить, но не уходил.

Затем раздавались откуда-то сверху аккорды, кто-то играл, и игра его походила не переход, наметившийся было в сидении, но, наметившись, он не осуществился, потому что так всё и оставалось у них, так и сидели они, Сивцев не мог сказать своего,

Лумнёв не мог встать и уйти, и время для них, не меняясь в сознании, не изменяло от этого ничего и вокруг.

“Я закричал, я затопал ногами, когда медленно шли вокруг, но я не мог их остановить, ибо они не давались мне, чтобы мне их остановить. Они думали про своё или, вернее, ничего не думали и мне не давали думать, и надоедало сидеть у окна, и отойти я не мог, потому что они мешали. В таком тяжёлом сидении я оставался довольно долго, так что стало уже светать, но не рассвело. Видимо, знак мне был, угрюмый, тяжёлый знак, но я не понял его тогда, не воспринял и вот к тебе пришёл, чтобы ты понял меня и объяснил, но ты, мне не объясняя, молчишь.”

А Лумнёв и вправду молчал, не хотя, видимо, ничего говорить, в нём всё вертелось, ходило и порывалось встать, но, вместе с тем, не могло, потому что не было ничего такого, что бы тому способствовало.

Лумнёв любил себя, хотя и не думал о том, что любил, и любил смотреть на себя, особенно вечерами, когда заходило солнце и становилось темно, а вокруг носились чьи-то мятущиеся обойдённые тени, которых Лумнёв не видел и не замечал.

Может быть, оттого хотел рассказать обо всём своём Сивцев Лумнёву.

Однако любя себя, он никому не давал понять этого, потому что в комнате у себя был всегда один. Он разглядывал себя осторожно, как бы издалека, как бы боясь неумелостью повредить себе.

У него были тонкие длинные руки, и он вытягивал их, как вытягивает шею игривый в пылу жираф. И наверху качались, как зацепившиеся, завесившиеся две черепахи, две кисти, ладони рук, с упрятавшимися под панцирь пятипалыми – голова и ноги – основаниями без костей, под ладонь ушедшими пальцами, оставившими в отверстиях напоминание о себе, отверстиях из фаланг, с переходами между них, с перемычками и перетяжками, и это было, видать, смешно, потому что хмыкнул он вдруг, вспомнив всё это.

И дальше его повело, дальше, там, где гнездились что-то неузнаваемое, непроизносимое, о чём он не думал совсем и что

само собой только всплывало, если его потревожить. И на повстрешенной этой глади проглядывало вдруг чудовищем из глубин с подвороченною губой, скосив, забытое чьё-то лицо в обрамлении, с кудряшками и в чепце.

Лумнёв не мог припомнить, кто это был, но шевельнулось в нём что-то, какая-то упрямая, скрываемая мысль. На фотографии ли давней-давней он видел это или же приснилось оно ему в жарком сне. Сам ли то был он, себя не узнавший, кто-то ли из прежних, старинных родственников, о которых не помнил, но которые были. И так тепло вдруг, так сладостно стало ему на душе, залив, таким покоем повеяло, что сидевший Сивцев совсем не стал раздражать, напротив, хотелось броситься к Сивцеву и обнять. Но Сивцев сидел не высказывавшийся и угрюмый, совсем не в старинном сне, а в себе, в глазах, в глубине у него дрожала запавшая мысль, одна, не дававшая освободиться, не отпускавшая.

“— Я тебе что сказал в тот раз? — совсем без перехода, откинувшись, спросил Лумнёв, — я тебе сказал “бди”, и наискорейше произойдёт тобою желаемое. Разве не так?”

“А что бы ты мне сказал, если б я тебе преподнёс поросю на блюде?”

“— Ничего.

Они всегда так говорили между собой. Сивцев – тихо, едва заметно губами, иногда же не шевеля ими и про себя, Лумнёв, тот громко и вслух. Но понимали друг друга – Сивцеву, правда, не всегда удавалось при этом высказываться, он страдал от этого и, страдая, сжимался, Лумнёв же не замечал обычно.

“— Приходил кто к тебе, говори, приходил?”

“Я сижу громко и плачу, и плач мой разносится по свисающим мармеладным кругам, как ползущий на запад туман. Я медленно мысленно приподнимаюсь всей тяжестью, пытаюсь вобраться, но нет ничего, ради чего это бы стоило делать...”

“— И что просил?”

“Я молчу, молчу себе дальше, но во мне зреет новое утяжеление, то, ради чего живут?”

“— Гони их в шею! Что они могут дать тебе, что обещать? Или не понимаешь ты, как нелегко, как трудно не поддаваться, оставаясь собой и запихиваясь в прокрустово ложе причин и следствий? Вот тут причины, а тут вот следствия, а ты между ними как нож, как бритва, задавленная, замятая, сжатая в свой замин? Не понимаешь?”

“Ах, да что же это, я весь как рыба, как лунь, порхающий и хохочущий над собой, всё во мне не моё, чужое, всё с чужого плеча и чужой руки...”

И полоснуло будто, прокричал ли кто или сверкнуло огнём. Но не знал ни Лумнёв, ни Сивцев, что было то. И хватануло будто, зевнув, и в раззявистую дырявую пасть затвердевшим комом сползло сожаление, что вот не так бы должно, что вот не то бы, что, распутившись хвостом, можно бы и изменить...

“Ну зачем, зачем так неясно, тревожно, зачем пустоцветом цвешь?” — и Сивцев вспорхнул словно, прянув ушами, и словно мухи или круги по воде на стороны расходились длинные, тонкие вокруг и вдоль кринолины.

“— И чтобы ни ты ни я, чтобы мы не могли с тобой удивиться, не могли даже встретиться по-мужски, чтоб между нами вставали какие-то карамели, обсмокшие сосуны?”

“Что мне до этого до всего? Я не могу только проговориться, кого я видел ночной порой.”

“— А кого же ты видел?”

“Солодухин ко мне приходил, весь длинный такой, в сплошных репьях, и сердце моё замирало от радости на него...”

“— Что же ты молчал, что же не говорил мне, я бы такое с ним прокрутил, я бы с таким восторгом, со всей моей дорогой душой, — и Лумнёв вдруг вскочил и бросился на сидящего и замаял его, и замежил собой. Сивцев кашлял и не мог от него оправиться в задавленной маете.

Где-то долго-долго, за полосой воды, хохотала выпь, пуская по временам пузыри, прилетали слётыши, спущенные с гнезда, и по-детски выпячивали разбегающиеся глаза, а загнувшийся Сивцев их видел и не моргал.

Было пустынно и сумеречно, и, наверно, пришли, потому что в белой глади растормошённых линий водились кудрявые паутины.

“У них нет другого способа тебе сказать о своём приходе, кроме как бормотнуть, а ты не чувствуешь их, тюфяк.”

“— У-у,у-у, — раздавалось из-за горы в подтверждение за большой сизой надолбой, будто мол. Об неё разбивались находящие тучи и всё, что могло, а вокруг саднило и спело прочерчиваемое пространство и коби спускались ветвями на вервях.

“— Я ничего тебе не рассказывал? — отпрыгнул от сжатого Сивцева подобревший Лумнёв, — слушай, тогда расскажу, — и начал...

“Летошним годом, — начал, — как будто бы ползая или же пробуя сил, — летошним годом встретились мне два хлыща. Трамвай катил мимо и выкатил мне этих двух верзил. Растворились двери с лязгом телятника, и появились эти двое курящих, как если бы в юбках-клубках зари. Ты представляешь, с какой надеждой в глазах, с каким сиреневым бесовским восторгом, распростёрши объятя, как братья, давно не видевшие, сдавили меня с двух сторон, и, сплавившись с ними, я стал походить на тройник, на скульптурную группу граций, две лицом и одна спиною к зрителю, та, что я...

Сам я не был в восторге, самому мне казалось, что зря, зря это я упустил отошедший трамвай, задержавшись, зря это мне такое внимание, зря это мы стоим и держимся, чтоб не упасть, зря руки свёрнуты и сплетены в каком-то неуместном добрососедском порыве, зря мимо ходят прохожие и, стыдливо прячась, отходят прочь. Ну да и что мне сказать, как сдержать неверным каким, срывающимся движением эту смущающую компанейскую лободу? Что ты на это скажешь?”

Но Сивцев, сидя, ничего не сказал, он закатывал непослушно скрывающиеся глаза и слушал, и, казалось, не слышал западающий звук, исходивший совсем не оттуда, не от Лумнёва, откуда-то сверху и изнутри и со всех сторон, так что слушание его доставляло большого труда, приходилось

сжиматься, свёртываться, чтобы черпнуть его призрачности, как черпают лодкой плывущей воды в экстазе крутящихся и убегающих пен.

“Если б мы стояли на башне с ними, я б фуганул, я бы спрыгнул, такое мы составляли единство и полноту”, — и в этом признании, в этой приверженности правде-истине, тому, что есть, неприкрашенной и обнажённой, выставился весь вдруг Лумнёв, смотревший на жизнь из слоновой кости, их каких-то посудин, из роговой оправы, привыкший пользоваться и брать, не подозревая о том, что возможно и существует какое-то там иное, не похожее на его, отношение к ней. Для него его не было, и в этом, видимо, состояла действительная порочность и обаяние одновременно глубоко испорченной и не догадывающейся, однако, об этом невинности — “наитие”, как сказал бы Филиппов, если бы был.

“Но башни не было, и мне приходилось с ними стоять в неудобстве и в тесноте...”

Трибуны

“Ну, что же ты замолчал?” — шепнул какой-то мимо летящий ангел, потому что Лумнёву стало как-то не по себе, когда он остановился. Часы, висевшие перед глазами, пробили пять, и надо было давно уже, с час как выйти.

“— Сивцев, ты мне весь день испортил, лучше б ты мне нагрубил, но ты ведь грубить не умеешь, ты весь резиновый, словно на проводах, тебя растягиваешь, и ты уходишь, прячешься в скорлупу, ухватить нельзя, нельзя ухватить!

“Ну же”, — хотелось крикнуть в распахнувшийся рот, как в окно, потому что Сивцев действительно полулежал, сложившись и образуя углы по сторонам от себя, и невозможно было понять, где же он сам, этот Сивцев, где то, что его основное.

Лумнёв вскочил и побежал за пивом. Хлопнул дверью замревшего холодильника, переставшего издавать свой икотный звук, вывернул на обратном пути обернувшуюся половицу, нещадно ругнул её и предстал пред Сивцевым бодрячком.

Расположились есть, и выставлено было, что принесено. Но не это главное было, не это составляло прелесть проводимого вечера, главное было то, что Лумнёв вдруг прочувствовал всеохватность, беспредельность человеческого страдания. Это произошло как наитие, и впервые с ним. Оно накатило и грянуло и, грянув, проволокло Лумнёва самого сквозь себя, как продёргивают шилом неподдающуюся кожаную дратву. И он вдруг съёжился сам, как до этого съёживался и сжимался Сивцев, и сжавшимися ежами сидели они и есть не могли.

Произошло это от звонка. По случайности ли, неведению или нарочно, подсланные Солодухиным напугать, пришли вдруг милиционеры. Лумнёв не хотел открывать, что-то ему шепнуло, и ворохнувшееся тогда нежелание сжалось внутри, это было первое сжатие. Он не хотел открывать, но всё же открыл. Так бывает, когда из чувства необъяснимого долга, чувства какой-то общественной простоты человек вдруг подействует, а потом жалеет, потому что можно было не делать того, что потом совершилось и вызывает у совершившего недоумение, зачем это было необходимо. Так же подействовал и Лумнёв.

Дверь открылась, и вошли к ним двое. Двое против двоих. Но это не был обычный куртаж собравшихся, когда сидящие и стоящие, одни и другие, составляют некую группу взаимно дополняющих и обогащающих друг друга сердец в обе стороны тешащем разговоре, нет, это был размен, когда одни заменяют другими отсутствующие места, когда не видят и на ходу меняют и подменяют понятия и слова. Возможно, чтобы поймать, подловить другого, а возможно, и чтобы представить себя самого в ином, несколько лучшем, достойном и милом виде и свете.

В этом было что-то тревожное и бессмысленное, что-то дурное, но ни Лумнёв, ни Сивцев, ни эти двое не ощутили во всё это время этой плотно их окружившей бессмысленности и дурноты.

“— Вы здесь живёте? — сказал один, и ударение упало то ли на *живёте*, то ли на *вы*, понять нельзя было и нельзя ответить, и что ответить — “живу” или “я”, но Лумнёв сказал:

“— Я живу, — сказал он так же с ударением на двух словах, то ли без всякого ударения.

И сразу же после этого в голове пронеслось чуть ли не всё, что предшествовало этой в некотором роде значимой и не простой минуте. Так бывает, когда выйдешь вдруг из лесу после долгих блужданий между деревьев и пней, не зная, куда и зачем бредёшь, выйдешь на пустоту, и открывается вдруг перед тобой вся ширь, та самая, которой не замечал, не знал даже до этого, что была. Открывается и летит, словно поездом гонимая в скорбную даль, диким, безумным поездом.

“— Вы гражданин Лумнёв? — спросила фигура младшего лейтенанта в нашивках сиренью отсвечивавших погон.

Старший стоял за ним следом, пряча лицо в козырёк, весь напряживаясь и сворачиваясь, весь лицом оставаясь в насупивавшихся бровях.

“— Не могли бы вы нам кое-что рассказать? — продолжала фигура младшего лейтенанта, продвигаясь вперёд, явно не имеющая большого намерения познакомиться дальше.

Он так и сказал *рассказать*, Лумнёв это тогда хорошо запомнил, чтоб не сказать усвоил, потому что всё это ему было тогда ни к чему.

Рассказывать, собственно говоря, было нечего. Из всех событий, когда-либо компрометировавших его или к тому способных, он мог бы припомнить каких-нибудь два или три, интереса не представлявших. Где-то в туманной дали будоражимой памяти всплыло сомнение в нужности предпринимавшихся в своё время шагов, и сейчас, при пиве и при этих двоих, как-то не к месту вспомнилось чьё-то дурное предзнаменование о начале конца.

“— Садитесь, — широким жестом добродушного гостеприимства пригласил их к столу Лумнёв.

Приглашать, наверно, не стоило, да и какой из него добродушный хозяин, но было поздно, как-то само слетело, каким-то сработавшим языком.

Руки легли на закрытую папку с застёжками, пошевелили верх. Младший сидел распрямившись и приготовившись, с

чувством значимой роли и своего участия в ней. Старший – согнувшись, сгорбясь, с скрестившимися руками между расставленных ног. Что-то унылое и рядовое, какая-то навислая скорбь собралась в его нахлобученной на глаза фуражке, в сжатых губах, в скуле.

“— Нам нужны некоторые уточнения. Не могли бы вы нам их представить?”

“— Со всем моим удовольствием, всегда готов служить представителям власти, находящимся при исполнении возлагаемых на них обязанностей, — такое проявление верноподданнических чувств совсем не вязалось ни к месту, ни к случаю, но Лумнёва несло, по-видимому в силу нервности происходящего.

“— Да нет, это вовсе не требуется, — поспешил оправдаться начавший младший, почувствовав вдруг неловкость, — Пусть гражданин не спешит, пусть обдумает, рвение может ему повредить.

“— Нет, к чему, мне абсолютно-таки и ровным счётом нечего от властей скрывать, я перед ними чист, как пред Богом, — и Лумнёв постучал по столу, как бы себя по груди похлопал.

На минуту произошло замешательство. Младший потерял свою нить, старший сидел всё так же, не шевелясь.

“К чему я всё это говорю? — мелькнуло в голове Лумнёва, — какой-то бред, но, наверное, это нужно?” — и вопросительно завис сам в себе внутри. Колебания не были свойственны его открытой душе, и в эти мгновения он не узнавал сам себя, словно другой кто-то, вселившись, руководствовался и распоряжался Лумнёвым.

Сивцев, стоявший поодаль и не подходивший близко, стреляя глазами в лелеемой, очевидно, надежде сбежать, выпрыгнув через окно, почувствовал вдруг в этот момент облегчение, пронявшее члены, напряженные, напрягшиеся до того, и, почувствовав, ослабел, ноги его подогнулись, и он присел на стоявший стул, на самый край его, словно боясь посунуться дальше, вглубь – до смешного, вдруг прилипнет наглаженными

штанами к смоле, вдруг проколет гвоздём их или сядет на воткнутые булавки.

“— Я не могу вас ничем порадовать, к сожалению, — сказал, боднув костяшками пальцев, средним и указательным, лежавший перед собой коленкор, вновь овладевающий ситуацией младший милиционер, — мне от вас понадобятся немного-немало как показания за или против самих себя.

“— Вы виделись с Феоктистовым, где, когда и при каких обстоятельствах? — жёстким, не предполагающим возражений, официальным тоном задал он наконец свой вопрос.

“— А кто такой Феоктистов?

“— С Филипповым — повторил он вопрос, поправившись.

“— С Филипповым и Феоктистовым или с Феоктистовым или Филипповым — я не совсем вас понял?

“— Вы не улавливаете моей интонации? Я не могу двадцать раз повторять вам одно и то же. Да, с Филипповым.

Милиционер начинал раздражаться, и это почему-то стало вдруг импонировать замешавшемуся было Лумнёву.

“— Ну, если да, то я, наверное, смогу удовлетворить вашу любознательность. Нет, не виделся.

Лумнёв бездарно и бесполезно врал, но так было нужно, он чувствовал, для какого-то внутреннего распорядка. Он ощущал в себе растущую вдруг уверенность в неодолимости, и это, как мания, вдруг его охватившая, выросла и подчинила его себе. Дальше — больше, стоило только начать, и Лумнёва могло нести как на крыльях.

“— Я не думаю, — сказал напряжённым голосом милиционер, — что встречавшиеся с ним до вас дезинформировали нас на ваш счёт.

“— Я не знаю, с кем вы из них встречались и говорили, и кто вас, как вы говорите сами, дезинформировал, я отвечаю лишь за свои слова.

“— Сего года третьего месяца второго числа вас видели у Филиппова в сопровождении двух вышешпоименованных лиц, и вы имели с ним, как бы это сказать, в их сопровождении и присутствии как конфиденентов, не совсем дозволенное и уж

никоим образом не поощряемое соответствие в виде трёх рулонов не обозначенного вложения. Затем, в сопровождении ещё двух лиц, вы препроводили рулоны по месту проживания одного из двух первых, где они и были изъяты и конфискованы органами милиции отчуждением в пользу общества и в его лице государства как не подлежащий передаче, переводу и перепродаже предмет, представляющий сам в себе и собой государственную ценность.

В распахнувшееся вдруг окно засвиристел ошалело щегол, вскочивший на ветку, и мирно всходили голуби по бордюру навесившейся с дома напротив крыши, опьяневшие от любви.

Сивцев, примявшись на крае стула, совсем отдохнул и хотел было встать, но какая-то чёрная сила, тяжёлая и ему неведомая, гвоздила его ко краю сидалища и дальше, за видимый его край.

Старший милиционер многозначительно высунулся из-под своей фуражки и, не меняя позы, переставил руки местами – левую ближе, правую дальше к промежности и бедру.

Лумнёв захлебнулся, вскочил и, размахивая руками, прямыми и ровными, словно упоминавшиеся в соответствующем пункте рулоны, принялся бегать, отмеривая шаги, кляня про себя и Солодухина, и всех на свете, и Филиппова с не существующим Феокистовым, и пришедших милиционеров, не рискуя, однако, при этом выкрикивать вслух фамилии упомянутых и их имена, чтоб не проболтаться, не брякнуть лишнего, думая, не без надежды и основания, что всё это солодухинский блеф и что берут на пушку.

За гардинными шторами прятался кто-то невидимый и хохотал, сдвигая своим дрожанием в неслышимом хохоте ходившую взад и вперёд ткань окна за спиной сидящих.

Мандолина

Дни шли за днями. Вечерний закат ещё не был в сумерках, даже напротив, было совсем светло.

На разостланном по песку одеяле банки с кабачковой и баклажанной икрой, в середине жёлто в миске, с переходящим в белое, пок`атилось масло, горой лежал нарезанный толсто хлеб – в два пальца и вдоль, от серовато-пористого горбатого кирпича, взятого у хлебореза.

Тихо сиделось в тени невысоко-корявых сосен, клонившихся там и здесь на своих застывших стволах, остановленных в некогда хлопотливом беге. Теперь никто уже из них никуда не бежал, теперь они в сероватом молчании шершавых изгибов тел стояли немymi свидетелями протекавших событий, без спешки и суеты пропуская их мимо себя, как пропускают воду стоящие вдоль реки берега.

Сидевшие в этот час и под этими соснами были для них такой же речной водой – приплывшей лишь для того, чтоб уплыть, — со своим украденным у товарищей маслом (на всех товарищей было бы мало, а на двоих в самый раз), с назакономленной за две недели икрой, с притащенными консервами рыб и со своим настроением праздной несбыточности и свободы.

Миша любил этого своего товарища (фамилии его он не помнил). Вместе сживали они вечерами на жёлтом покатом бордюрном бугре, отделявшем одну часть военного расположения от другой, подолгу разговаривая, и так. Вместе спали на сетках кроватей, поставленных под брезентовым пологом на двух в высоту кирпичах. Вместе ходили посуду мыть в ваннах, передавая её при этом друг другу: в первой вода была жёлтая и тяжёлая, как замасленное стекло, во второй почище, а в третьей — с хлоркой для дезинфекции от дизентерии; на неё ставили третьего, кого-нибудь из лизоблюдов – ногти от хлорной воды становились гладкие, ровные, чистые, как миндалины (бокатые орехи розового миндаля), а руки лоснились потом неправдоподобно белым и бежевым, оливковым даже каким-то прозрачным оттенком.

Вместе теперь они проводили выкроенное на перерывах время, на одеяле, под соснами, на песке. Время, впрочем, было не выкроено, просто им удалось мотануть от простодушно-лукавого и себе на уме майора.

Ничто не нарушало теперь собравшейся тишины. Птицы в соснах не пели – видимо, отпугивали их большие иголки, да и те из них, что время от времени здесь появлялись, были совсем другие, совсем не певучие, не певчие даже птицы, крупные, с тупотом шоркавшие с ветвей и лопатами тенями прятавшиеся где-то внизу. Травы, из-за рассыпавшегося повсюду вокруг песка, обложенного поверху иголками хвои, не было, не росло, только сухие, коричневые какие-то, плоско пятившиеся торчки, — и потому никто не скворчал в траве.

Здесь – там, где они сидели на одеяле, буграсто его разостлав, потому что покатые холмики вздутого выдмой песка не удавалось ногами разгладить, — здесь этих привидений ползатой травы и здесь этой ковровой ссыпанной хвои не было, потому что был край соснового выгона и его конец.

Лежалось мягко, хотя кое-где на неровностях ощущалось чужое тело выгнутого под поясницей песка. Дышалось легко и, опершись о локоть, Миша разглядывал сползшие осыпи кручей вниз, междувсхолмия и колеи, плывущие вдоль заборов тени – не то деревьев, не то облаков, клубы наметавшейся пыли от проезжавшей машины вдали и куст заслонённого маревом дома, — всё это незнакомое теперь, непривычное, из другого мира.

Вспомнилась баня на берегу. Вода была едва тепла и не отмывала. Длинные листья вечера плоско ляпались тут и там, по голым спинам, плечам и бёдрам, по перепутанному ногами песку. Стриженные затылки были так похожи один на другой, так не давали понять, где чей, что только по общему направлению движений, по некоторому рисунку тела, у каждого в разной степени картофельно белого, в его собственной, индивидуальной какой-то очищенной одутловатости, да ещё по линии кривизны от колена голени и бедра со спины распознавались некоторые, те, кого знал он и видел в одежде.

Гольй, в бане, совсем другой предстаёт человек, совсем на себя не похожий, совсем даже не видимый, не узнаваемый лицом.

Миша взглянул на сидевшего перед собой в какой-то приподнято-распакованной, освобождённой позе, с ногами, уткнутыми пятками под тупым углом в разложенное по песку

одеяло, с руками, откинутыми назад с отведёнными пальцами от себя, с запрокинутой головой – и представил его раздетым. Как-то не шло, не вязалось к месту, словно насилие надо было произвести над собой, над этой природой в песках, где всё, что виделось, показывалось в зелёно-выгоревшей, взбуревшей военной форме, как кора у сосен, как репанные от зноя и влаги щиты, как брезент покрывищ и верхи наезжавших по временам машин.

Не хотелось есть, хотя казалось, ради этого припасено и спрятано было в лесу, в потаённой яме, закрытой лапником и песком, и масло, и рыбы, и ради этого доставался и приносился хлеб.

Небо отчего-то не показывалось в этот раз. Солнце и было и не было, свет исходил откуда-то, но как-то вроде не от него.

В запрокинутой голове товарища, нижней скуле его, торчавшей углом, в приподнятых опершимися наотмашь руками плечах, в прогнувшемся туловище и всём, что дальше, сквозила какая-то не выражающая себя, какая-то струнящаяся, напряживающаяся отданность, примеривающаяся, готовящаяся скакнуть, но ещё не готовая, ещё сидящая, словно встрявшая горловая песнь.

Мимо ходили тени далёкого вечера, не собравшегося, не пришедшего, не обретоного здесь. Мимо тетенькали не слышимые никем полонезы. Мимо, наконец, проплывали воспоминания виденных в городе возле бани ровесниц, белых, каштановых, в цветном далёком каком-то раю, куда они ездили отмывать свои пыльно-песчаные члены в одну из положенных пятниц, не то суббот.

Всё это было мимо, он же, живой, не выразившийся, не воплотивший себя Орфей, сидит перед ним, отставив разъёмом ноги, словно держит в них что, какой-то невидимый инструмент, то ли взбирается по столбу на отставленное за пределы видимого кучерявое небо.

Банка с икрой на расстоянии вытянутой руки запеклась, покрылась на ветре корой. Открытые гнёзда песчаных россыпей и

такие же под одеялом напоминали следы копыт прогуливавшихся с утра лошадей.

Если бы Миша не знал своего товарища, если бы мог его подозревать в чём-нибудь, а то ведь нет. Он не крал, как Кормилов, со склада масла, не прятался, не скрывал, не возил что-то там под покровом тьмы за бутылку водки с армейским шофёром. Не уговаривался по ночам с подозрительными фигурами, приходившими из степи, словно бы ниоткуда, как потаённые серолапые зайцы в скрытых печальных глазах. Не подкидывал по временам какие-то непонятные, с подозрительным порошком пакеты на столы с посудой. Всего этого он не делал. Он был открыт, весь на ладони и на ветру, бери руками, но Миша чувствовал какую-то недоговорённость, какую-то невыраженную закрытость, какую-то глухую, зашторенную неясность и мглу. Он бы не мог сказать, о чём он думает, что у него на уме, что действительно, а не на словах им переживается в тот или другой момент. Да и слова-то были какие-то неуловимые, не говоримые даже как будто слова.

Миша напрягся от этого, от мысли, что сколько ни будь, ни живи с человеком, никогда его не узнать. Стало не по себе.

Тени вечера так и не приходили, так и не становились ближе далёкие обводя сиреневых вдоль заборов трав.

Потянуть, что ли, за ногу запрокинутого товарища, но вдруг он от этого брякнет, как деревянный, на верёвочках и шарнирах паяц?

“Зачем пришли мы и куда мы идём?” — подумалось Мише в разгорячённом слепой подозрительностью мозгу. “Кто ты и кто я?” — задавался он неразрешаемыми своими вопросами далее. Решал и не мог сказать. Словно ставил на тёмную, никуда не идущую лошадь.

Маглобдт

“— Проходите, садитесь, ну ж, — подторапливали Сивцева и Лумнёва. В углу у окна, козыря притворенной головой, облокотясь, стоял Телепенев.

“— Ясно, ясно, — продольно и радостно закивал посаженный в стол кормилец большой семьи.

“— Когда ты скрываешься, я сам тогда прихожду. Мне незачем вас тут с Филипповым под себя иметь, я вас всех о тут вот держу, — и большой крутолобой рукой, словно палкой на вертеле с кулаком, махнул взошедший перед стол Коротинов, — Видал? — и, наслаждаясь образом, он вертел и вертел её перед собой, перед Лумнёвым и перед Сивцевым, и даже с ней подошёл к вваленному за стол многоженцу-функционеру, только к Телепеневу не подошёл, стоящему у стены, не рискнул подойти и ляпнуть ей пред Телепенева.

Телепенев оттого надулся ещё, натужился, живот подобрал себе в плечи и в грудь и руки тогда сложил впереди, словно губы — покато и плоско.

“— Ну, говори, — Коротинов, остановясь у стола, пальцы веером, растопырился и хлопнул по столу не кулаком, распростёртою, развёрнутою в ладонь рукой, — говори, мыр-дадыр, говорю...

Он был уверен, что если хлопнуть по столу со всех сил, можно выбить всё, любую бубну, любой валет, и уж тем более из Филиппова в лице этих Лумнёва и Сивцева.

“— Говорю, — неожиданно для себя вдруг сказал Лумнёв.

“— Говорю, — повторил он тут же и через время, но как-то вспячиваясь и вспучиваясь, становясь на носки и не хотя кивать.

“— В том месте, где вы с Кармановым разохотились щебень брать, в том месте Филиппов значил брать, теперь будем брать у Дрёмова. Я вместе хожу туда с Сивцевым по утрам, хорошо там дают.

“— А догонят? Ещё дадут? — спросил, разинясь, за столом худощавый функционер и загоготал над собственной шуткой.

“— В карьере тяжёлое по вечерам дают представление, — вставил неслышимо Сивцев, чтоб поддержать.

“— И что? — это был снова вопрос Коротина, начинавшего понимать, распылившегося было в начале от выпадения, но теперь спохватившегося и взявшегося за своё.

“— В карьере такое выдают, в карьере приходят не щебень брать, а на всякое на своё.

“— И пьют и курят? — опять гоготнул, зубоскаля, функционер.

“— В карьере прячут картинки с выставки и выставляют на наго девиц напоказ.

“— Что это такое ты мне рассказываешь, что это за байки такие, меня это совсем даже не обходит, ты мне скажи лучше, куда вы с Филипповым деваете динамит.

“— Динамита нет, динамит весь попрятали, когда в позапрошлом году открыли салон красоты на углу Большой Розводовской. Тогда стало ясно, что дальше так продолжаться не может, что всё равно накроют и что салон совсем даже не прикрытие, что видно всё, и что за косметику и всякие там фигли-мигли от Петухова приходится слишком много платить, что он себе лепит на физиономию не свои наклейки и депелирует что-то своё, а мы должны из-за этого рисковать.

“— Что было у Перевощикова за зеркалом? Сколько того нагребли?

“— Немного, почти ничего.

“— А Филиппов?

“— Филиппова я не видал за этим. Филиппов по вечерам обедает.

“— Ну и что? Что он не может делать того и другого одновременно?

“— Филиппов не террорист. Он не будет пускать поезда под откос ради сомнительного удовольствия всполошить милицию и поднять по тревоге танки.

“— Кто же тогда взорвался на железнодорожном мосту?

“— Через Березину?

“— Ты что, издеваешься? Я тебе покажу, я вам всем покажу, почём Кузькину мать. Два случая, два идиотских случая неосторожного использования детонирования, и погиб человек,

погибли двое, молодые курсанты, не оперившиеся щенки, только от матери, ещё и не знавшие ничего, как даже девок трогать, а ты мне про выставку напоказ, про карьер и про прочее? Я вам про зеркало у Перевошикова, про пропажу ценного по нынешним временам сырья, а ты мне – обедать любит, кутила, мол, пьяница, живоглот, про какую-то Березину? Ты что, не видишь, что ли, не понимаешь, что я говорю?

“— Ну хорошо, Филиппов совсем даже ничего по своим вечерам не ест, так сидит, для порядку, я действительно тебе понаврал.

“— А косячок?

“— Что косячок?

“— Косячок у него для кого?

“— Не курит он.

“— А я и не говорю, что курит. Косячок у него для кого?

“— Ты что, действительно думаешь, что Филиппов будет пачкать себя об такую дрянь? Плохо ж ты знаешь Филиппова.

Установилась пауза, в которую Сивцев попробовал улизнуть. Это был жест отчаянный и ненужный, потому что никто в тот момент и не наседа на Сивцева, все даже про него как-то забыли вовсе, всем он показался как-то вроде б и ни к чему, чем-то потусторонним и дополнительным, и то ли от того, что это внутренне сильно задело Сивцева, то ли напротив, он решил этим воспользоваться на свой лад, только вдруг, свернувшись, он сделал к двери прыжок и, дёрнув за ручку, выскочил, с каким-то странным и неожиданным звуком, напоминавшим фамилию известного в те годы певца.

“— Чего это он? — спросил Коротин с какой-то даже тревогой в голосе и беспокойством, — Плохо ему вдруг стало?

“— Наверно, душно, — участливо-скупным голосом проговорил за столом многоженец.

“— Да нет, сомнительно. Впрочем, наверно. Пусть идёт. Всем нам пора уже расходиться.

И Сивцев, неожиданно для себя предвестивший посетившую Коротина переменную, не был поэтому догоняем, не был преследуем в бегстве своём, а спокойно был выпущен в

рядом стоявший парк, под купы больших деревьев с щёлкавшими там и здесь воробьями по кустам в волчьих ягодах, в занавесившуюся в проход ветлу, в зады каких-то строений с газонами и бордюрами перед собой, в заиндеветавший от извести и песка бетон с пупырышками и дырочками, шедший по краю обставляемой им полянки.

“— Не надо было его отпускать, — сказал, подумавши про себя, Телепнев, промолчав всё это время до этого, — наболтает, поди, чего не было.

“— Наболтает, и пусть, я не знаю, как ты, а я себе чист, — и Коротинов, задетый несколько, отвернулся.

Принесли в стаканах холодного чаю с лимонным кружком. Коротинов задумчиво дунул на воду, чтоб не обжечься, и, не дотронувшись до неё губами, поставил её на край.

“— В следующем году, в апреле, намечается ярмарка-распродажа. Нам надо верно и медленно отвоёвывать у мира своё. Мы не можем поражать совершенством и слаженностью всех деталей, у нас не было ни того времени, ни того опыта, как у западных, восточных, южных и северных наших коллег, но мы можем то, что мы можем, и в этом, может быть, наша сила. И Филиппов должен понимать, что она не в разделении, а в единстве. Да, конкурента надо уничтожать, это просто и не требует объяснений, но лучше, когда его нет, конкурента, когда всеми делается одно общее дело и не нужно каждому его крохи вырывать и выхватывать у другого. Филиппов может это понять, это ему доступно, это всем, я думаю, что доступно, — линии пальцев коснулись лба, словно бы чтоб отогнать набежавшую было тучу и провели по плоскости его полосную дугу, всколыхнувшую вспыхнувшие и погасшие тихоструи не разразившегося дождя.

“— Я всю жизнь, можно сказать, положил на достижение определённого уровня слаженности и работы, когда бы никто никому не мешал, когда бы делалось то, что делалось, но без взвихриваний и несогласованности между одним и другим, а Филиппов портит, Филиппов мешает, что же, убрать Филиппова?

Нет, его надо заставить, обстоятельствами заставить делать и поступать согласно и согласованно.

Телепнев оторвался наконец от стены. Функционер сидел всё также, жуя губами.

“— Что ты думаешь, что можно заставить Филиппова? Вот ушёл Сивцев, вот уйдёт сейчас и Лумнёв, и что останется? С чем они двое вышли? Перевоспитание этого поколения задача неразрешимая. Они воровали и воровать будут, у ближнего, у своего, потому что видят только то, что у них перед носом, что к носу ближе. Ты думаешь, они думают о завтрашнем дне или живут днём вчерашним? Нет, не думают и не живут, они о себе только думают и живут минутой. Выпусти их на волю — ты думаешь, они полетят? Нисколько. Сядут на ближний мусорник и будут клевать, только бы не упустить своё, ещё бы и вырвать что-нибудь у рядом такого же с ним сидящего из-под носа, потому что своё под собой — это вроде бы как несомненно и не исчезнет, а рядом лежащее ещё не такое, ещё ничьё и потому не своё и чужое и своим ещё может не стать, — прискачет такой же и склонет. А того не видят, глупцы, что за чужим таковым гоняясь, выхватывая его один у другого, у брата, соседа и ближнего, неизменно теряют своё, выхватываемое этим же братом, соседом и ближним из-под того же самого носа. А то, бывает, и ещё поди кем, совсем посторонним.

“— Обделены, — подытожил задумчиво Коротинов, — обделены и слепы. Потому и слепы, что обделены или потому и обделены, что слепы. Так на так всё одно выходит.

“— Тяжело с народом, — согласился в наполеоновской позе, руки на груди, Телепнев. — Тяжело, но будем, надо.

По облаку медленно шло на восток кучеряво размашистое беспокойное небо, открывая закатные за окном горизонты. Пора было давно расходиться, как объявил Коротинов, но что-то непроговоренное ещё заметно теплилось в остывавших глазах, что-то сдерживало и не давало стронуться и так вот просто уйти.

Гремучесть

“Кто из них робот? А может, я?” — задавался вопросом Лумнёв, оставляемый на дороге комом проехавшей себе дальше машины.

В тишине гудели накрываемые вечером фонари, изливая свет на летевшие капли.

“Стоило бы провериться.”

Сивцев, стоя рядом, раскачивался, его нельзя было уловить краем глаза, и от того Лумнёву казалось, что всё это как-то само себе, как-то без него течёт, без Лумнёва.

“Что за странная, непонятная участь, что за глупый пустой рывок?”

В глазах у Сивцева полоскались отсветы луж, и так, как вчера, как третьего дня, у Филиппова ничего не было слышно, потому что ничего и не происходило, так и теперь в навеси отстоялых дней Лумнёв не находил в себе ничего, шевеля, никаких таких сопротивлений, потоков, противных общему, которые, побудившись, пошебуршась, пусть не сразу, пусть с некоторым даже натугом и опозданием, пусть с некоторым экивоком, могли бы выдавиться в что-то определённое, в какую-нибудь опираемую мысль.

И как всегда при таких обстоятельствах Лумнёву вдруг захотелось домой, на постель, под греющее землёй одеяло.

Сивцев заперебирал ногами, переходя тротуар у железного стока, ступня его колупнулась о выбоину и, металлически звякнув, поехала вниз.

“Лепись себе по углам с любящими клей в переплётной крысами, с воронами, каркающими на костях деревьев, с не открывающимся, забитым на гвоздь окном, приходи по утрам Коротинов от Солодухина, всякие там Весёлкины от Филиппова, не сойду, не сдвинусь. Пускай себе гудят в пустое своё пространство подставленных им услужливо труб, пускай орут и кричат, из себя выходят, ногами топают, я не сойду, не сдвинусь.”

Лягнуло грязью тени вдоль выставившихся вдоль линии стен. Сивцев, споткнувшись, почти упал, но в последний момент

его подобрало и вновь поставило, будто маятник, откачнувшийся и зашедший было до крайнеё точки своего отклонения, а потом поворачивающийся назад. Сивцев вообще был брег`ом изнутри и вовремя останавливаем, когда это было надо.

Не так припомнившийся Лумнёву Красителев, прежний его содеятель и почти соприятель. С ним когда шли, то неожиданные препятствия, возникавшие какой-то неволей, становились трагичными, непреодолимыми, коварно уничтожительными. Вылетавшие люком фонтаны горячей воды могли задушить парами не переварившихся нечистот. Высаженный на три сантиметра из ряда бордюрный камень вдруг проворачивался при наступлении, грозя переломом. Улицу нельзя было перейти без угрозы наезда, опасности быть задавленным вырастающим из ниоткуда каким-нибудь тяжёлым грузовиком. Мороз подрал по коже Лумнёва при воспоминании о Красителеве.

Филиппов избавился от него, выставив криком за дверь. И тут же ведро покатилоь Филиппову под ноги, едва их не переломав. Неизвестно откуда взявшееся, прыгнувшее из-за двери ведро. Грохот сопровождал шаги удалявшегося в сердцах Красителева, грохот звенел в ушах застывшего над ведром Филиппова, грохот мешал Лумнёву сосредоточиться на чём-то своём и забыть и вычеркнуть или запомнить всю эту неприятную сцену. Оттого и не знал, не помнил точно её Лумнёв, был какой-то туман, какие-то общности вместо собственного существа предмета, его очевидной наглядности.

Из-за чего и возникло всё? Что было причиной, поводом к постановке дела?

Был ли таким же опасным и Сивцев? Пусть не прямо, не явно, не как Красителев, пусть только скрыто, себе на уме? Можно ли было его опасаться? И следовало ли?

В этом не мог дать себе отчёта останавливающийся теперь в своем раздумии, пораженный им, можно сказать, Лумнёв.

Целая жизнь проходила теперь перед ним как одно видение, пугалась, разгребалась и снова пугалась. Переваливалось в закрути одно на другое всё от того, что не мог он понять, кто же Сивцев, что в нём от человека. Враг ли он или брат?

Видение восставало из памяти, вздрагивало, похожее на дующий в свою дуду самовар, на рыкающий на углах переходов поезд, не могущий заскочить в туннель.

Видение копошилось мокрой, переворачивающей душу оглоблей, тревожило всё нутро, и острое сожаление, не оформившееся, где-то внутри грозило вспучиться и вылезти, выйти прочь.

Лумнёв подошёл тонким шагом к Сивцеву, чтобы взять его за рукав. Что-то было в этом движении давно забытое, какое-то врождённое благородство, воспитанный, а не наигранный жест. В глазах его светились скромность и благодушие, скрывающие скрежещущий солнечное сплетение страх. Страх толкал собой невыразимую злобу, точнее тоску. И с тоской этой он бы многое мог в ту минуту наделать и совершить. Мог бы Сивцева даже убить, хотя, может, об этом он думал меньше всего, меньше всего мог бы это, предположив, допустить. В нём возбуждалась, росла не передаваемая словами обыденность, привычность к страху, как к дополнению, вкусу приправы, не отделяемому от основного вкуса, слитому с ним воедино, в целое, в неразложимый конгломерат. Это обманное ожидание было, наверное, в нём в тот момент опаснее и непредсказуемее всяческого другого.

“Я сейчас что-то сделаю, должен сделать”, — мелькнуло в нём, едва он коснулся пальцами локтя Сивцева — двумя цеплючими пальцами, одним щипком, так тянут нос, чтобы высморкать.

“— Куда ты, Сивцев, направил свои стопы?”

Сивцев вскинул невыразительный взгляд, словно тоже о чём-то думал, погружённый в своё.

“— Я провожу тебя, Сивцев, не правда ли вечер хорош?”

“— Мило мне будет, — заметил Сивцев, ничего как всегда не имея в виду, но внешне словно как будто раскланявшись неизвестно кому.

“— Что бы ты сказал на моё предложение провести его вместе?”

“— И это мило, только не доставит ли это тебе хлопот?”

“— Нисколько. Не беспокойся, Сивцев.

Что-то странное просквозило в глазах Лумнёва, какой-то тревожный и хищный блеск. Вглядевшись пристально, мог бы Сивцев увидеть привычное, неприязненно-отстранённое оживление, обозначающее обычно сиюминутный каприз, желание что-то где-то не упустить. Но Сивцев не всматривался, да и мелькнувшее в глазах Лумнёва по-настоящему означало совсем не то, что-то совсем иное, скорее даже восторг, ожидание встречи, чего-то такого, что может не состояться, но, если произойдёт, исполнит все мыслимые надежды.

С особой тщательностью, с какой-то даже предупредительной осторожностью, словно боясь упустить, Лумнёв притянул к себе Сивцева и повёл, переступая ногами с носка на пятку, в неожиданном для себя, словно индейском вкрадчивом пританцовывании, словно бы на тропе с томагавком в руках вместо Сивцева и в шитых жилами мокасинах.

Так, вальсируя почти, они подошли к дому Сивцева в рыжих набухших пятнах. Подъезд был закрыт изнутри на заглохший замок. За стеной шевелились задавленные, стихшие к ночи звуки и нарождающиеся другие, как капли весенней капели с крыш. Подойдя к двери, Сивцев начал водить ключом, ища замочную скважину, и вдруг неожиданно, с грохотом, по водосточной трубе, обрывающейся у третьего этажа, шлёпнул к ногам Лумнёва распавшийся на куски тяжёлый асфальтовый ком.

— Это всё кровельщики не успели убрать, — поспешил успокоить Сивцев.

Дверь открылась, и снова, с грохотом и поехав, упало сверху, на сей раз на Сивцева, — жестяная гремящая сплюснутая корытина.

— Что бы это могло быть? — забеспокоился Сивцев, когда по нему ударило.

— Это кровельщики, наверное, позабыли убрать, — таким же тоном, как перед тем был у Сивцева, поспешил заверить Лумнёв.

Сивцев взглянул на Лумнёва каким-то подозрительным долгим взглядом и, спрятав руки, пошёл, пропуская Лумнёва, следом.

По этажам, в гулкую их пустоту, раздавались шаркающие, пришепётывающие на переходах шаги Лумнёва и Сивцева, скрадывавшиеся не поднимаемыми ими при продвижении ногами. Шли тихо и не спеша, словно боясь вспугнуть кого, словно опасаясь резким толчком, неловким поворотом плеча качнуть висящее в воздухе, ожидающее только удара падение.

“— Голову наклони, — предупредительно сзади сказал следом идущий Сивцев. Над головой Лумнёва качнулось нечто, какая-то плитой фигура, словно протёк пласт воды, словно большая рыба, плеснув, саданула над головой плоским телом своим с хвостом.

“— Надо же, пооставляли, — удручённо, с хозяйственной озабоченностью сказал задумчивый Сивцев, провожая глазами махнувшую слепь, — сандалии с ленточными завязками на толстой подошве с отороченным рантом.

Лумнёв пялил глаза в прибитую темноту и не находил, не видел ничего из того, о чём говорил ему Сивцев, ему что-то мерещилось где-то в чешуйчатой глубокой дали, в проёме маршей, что-то шевельнувшееся и теперь опадающее, то ли как походя брошенный с плеча полугазовый шлейф, то ли лист действительного хвоста, теперь подбираемого за собой уходящим археоптериксом, и он не мог, собравшись, ни закричать, ни взбежать вверх, ни даже определившись точно в своих ощущениях, то ли испугаться совсем, но по ясному поводу, то ли, напротив, но опять-таки понимая, что ничего, — успокоить чувства.

“— Как ты это узнал? — ничего более умного, тараша глаза в проём, не нашёлся сказать Лумнёв.

“— Что это? — без задней мысли и ровным голосом спросил невинный Сивцев.

“— Как ты узнал, что было?

“— Сандалии? Так ведь видно же. Что же ещё могло быть-то? Чему и быть? Кровельщики, когда на крышу лезят, всегда свою обувь снимают, чтоб не перемазать смолой, а потом могут забыть надеть.

Объяснение мало могло успокоить Лумнёва. Он шёл оглядываясь, посматривая теперь и наверх, и тяжёлые шаги его раздавались сверху уставшей от непрерывного хождения внутри себя машиной. Что-то его и толкало, и двигало, и что-то вместе с тем совсем не хотело идти, боялось, стопорилось, чувствуя недобро.

Понятийная доля

Было рано ещё. Почту не приносили. Перед глазами проснувшегося и лежавшего Миши проносились вчерашние дни. Как Зайцев, вышедший на дорогу, махал рукой, пытаясь кого-нибудь остановить из проезжавших мимо, но никто ему не останавливался, всем было на Зайцева наплевать. Как Зина сказала с вечера, что на ночь в лесу не останется, хоть там и дом стоял, большой, трёхэтажный, со сторожем и посудой, выдаваемой на выходные, а на Зину бывали виды. Как Вислоухов в длинных, болтавшихся на нём, как на верёвке, штанах, запуская руки в карманы у бёдер своих, что-то с вызовом говорил. Как пиво пролили на покрытый газетами стол с хлебом на нём и рыбой, и хлеб стал мокр и рыба плыла, а Возгарёв хихикал и тыкал пальцами в растекавшуюся под газетами лужу. Как Голованов, гуляя по лесу, наступил в дерьмо и, не заметив, сел рядом с Мишей за рыбу с пивом и выставил ногу в испачканной туфле себе на колено, а Мише под нос. Как всё это нагулявшееся и наевшееся пошло плясать и прыгать, скидывая с себя на лету что было.

Водки не было. Водки не приносили. От пива так развезло.

Миша вспомнил проводы в тополином лесу. Вышли на поляну стоять. Но никто не трогался. Зина кричала и плакала, чтоб её увезли. Возгарёв качался, икал, тычась у всех под ногами.

Ребёнок у Зины был не от него, не от Миши, хотя она часто его Мише подбрасывала, и в этот раз приехала с Мишей и с ним на машине Карманова.

Карманов привёз их тогда и уехал, потом, правда, приехал снова, но Зину отвозить не хотел, сказал, что пьян и везти не может.

Ребёнок спал на руках у Миши. Сладко и безмятежно спал, ничего не подозревая. Что Зина кричала, требуя себя увезти. Что было уже темно. Что автобусы не ходили. Что Зина опять, как она говорила, была беременна, и на третьем месяце, и опять не от Миши. Что Карманов был пьян, а машины, пролетавшие с мокрым шорохом мимо Зайцева, не хотели перед ним останавливаться, чтоб его отвезти, его и Зину, как Зайцев думал, как хотела, наверное, думать и Зина с ним.

Миша стоял у дороги перед кустом, капли падали с веток, с высоких веток над головой, тугие и терпкие капли. Дорога вилась бесконечным хвостом, в одну и другую сторону, далеко было в город, не приходилось идти, хотя Зина уже собралась было в своём истерическом жесте. Зайцев пытался её утешить, хватался за плечи, заглядывал ей в глаза, что-то ей говорил. Но она не хотела Зайцева. Это знал Миша. Это знала она сама, хотя никогда бы в том не создалась. Это знал, не осознавая, ребёнок в руках у Миши и оттого так сладко и безмятежно спавший. Это знал не родившийся и дремавший плод во чреве её (если был), кем-то по обыкновению зачатый, но опять-таки и не Зайцевым, который не знал даже и того, был ли тот, существовал ли уже, Зина ничего не сказала ему, держа в неведении, а уж тем более его ли он был, из его ли семени создан, не обнадежив нимало его на сей счёт.

Зайцев был нужен ей, как нужен бывал для чего-то и Миша, для каких-то определённых причин, как и тогда, например, — Зайцев – ловить машину, Миша – опять же с ребёнком стоять под недавно прошедшим дождём. Но пользуясь ими, умея одновременно не сталкивать их и беременея всегда не от них, она избегала почти одинаково и одного и другого, и если Зайцев мог ещё хоть как-то на что-то рассчитывать, тешить себя надеждой, имея слабый, но шанс, то Мише она предоставляла себя крайне редко и всегда будучи далеко не в праздном по женской части своей положении и, что самое важное, уверенно и определённо не праздном, предупреждая его об этом, откровенно ему говоря (чего

не делала с Зайцевым), чтоб он ни на что не рассчитывал и ничем бы себя не тешил, повторяя при этом одну и ту же, ставшую сакраментальной фразу: “Если хочешь, Миша, могу сегодня тебе отдаться, но я, как ты понимаешь, опять беременна”. И по тому, как она теперь с ним не оставалась и даже напротив, в каком-то паническом страхе бежала прочь от возможного и забрезжившего для него в связи с наметившимся её положением соединения с ним, можно было бы усомниться в наличии такового или, по крайней мере, в её полной уверенности на сей счёт.

Ребёнок им никогда не мешал, даже напротив, она в эти разрешённые дни приходила с ним, оставаясь у Миши на ночь. Вот и теперь, поманив, прихватила его с собой на машине Карманова, проехавшись с ветерком в растворённое боковое стекло: Карманов вёл, сосредоточенно смотря на дорогу, ребёнок прыгал сзади на трёхместном сидении с Мишей, а она сидела рядом с Кармановым, театрально выставив руку в окно, то лениво кладя её сверху на крышу, цепляя пальцами кузов, то пуская её в свободном полёте над полотном автострады.

Теперь же никто не хотел отвозить её в город обратно.

Сначала делали шашлыки. Вызвался Возгарёв, сказав, что умеет. Долго возился с луком и уксусом, но, распаливши огонь, всё сжёл. Полдня стояния в маринаде пошли насмарку. Пожалели траченных денег, ожидания и суеты, но отнеслись к событию с некоторой отстранённостью, несколько даже издалека, понимая, видимо, что на Возгарёва не следовало полагаться. Возгарёв, от того ли или чего другого, набрался сильнее обычного, на ногах даже не стоял и норовил уснуть.

“— Удачи тебе, во всём удачи, — шептал он Мише по временам, припадая к уху локтем в плечо.

Миша не очень любил этих дружеских его возлияний и, признаться, не очень им верил, хотя понимал в душе, что Возгарёв знает больше, чем даёт обнаруживать. Сидя напротив, тот временами поглядывал то на Зайцева, то на Мишу, но ничего не показывал на своём лице.

“— Я вот чего хочу вам сказать, господа, — с каким-то дурачеством вдруг воскликнул он, — живите дружно. Самое

правильное в человеке, когда он чувствует, — и Возгарёв при этом по-пьяному причмокивал языком.

“— Словами не расскажешь, чего мне пришлось стерпеть, — в другой раз наклонившись, уже после головановского конфуза с тужей, сказал он, упираясь опять Мише в плечо, — думаешь, так всё просто? Мне боком вышла вся эта простота! Филиппов ничего тебе не говорил?

Упоминание о Филиппове в такой неподходящий момент повергло Весёлкина в неприязнь к Возгарёву.

“— Поди сюда, — и Возгарёв, ухватив неожиданным взмахом за плечи, Мишу к себе повернул, — я тебе тоже ничего не скажу, потому что лишние знания, они ни к чему, они только вред, но ты не думай, что всё так легко и просто, как кажется иногда.

Потом сидели и пили. Потом выходили на воздух гулять. По берегу шли. Зина Весёлкина избегала, отдав ему, однако, ребёнка на руки во все время прогулки держать. Зайцев отчего-то тревожился, нервно посматривал на часы.

В песке, перебираемом восемью их ногами, была нетронутость и пустота. Возгарёв отставал, не поспевая следом, хотя шли медленно. Карманов, в кольцо понаехавших молодых парней и с ними девиц, замыкал сзади шествие.

Он так ничего тогда и не сказал, Возгарёв, только двусмысленно как-то повёл глазами, и если бы было что слушать, может, Весёлкин повёл бы себя как-то иначе.

А так, он встал, скривившись в лице, снял с плеч лежавшие руки пьяного Возгарёва или прикидывавшегося таковым, — возможно, чтоб не сказать, сказав, возможно, чтоб был только повод сказать. Снял и брезгливо вышел.

Он совсем не испытывал к Возгарёву тогда показанных ему чувств — пренебрежения, высокомерия, равнодушия. Он только хотел дать понять, что он независим и что ничто не может его поколебать, в каком бы дурацком свете всё ни предстало. Что ни филипповский авторитет, ни мнение Возгарёва, ни знание, ни опыт его не имеют значения. Что он, Весёлкин, бесценен сам по

себе, без посторонних мнений о нём, без дополнительных обстоятельств, неявных и явных.

Может быть, если б ему тогда Возгарёв что-нибудь объяснил, что имел в виду, если б дал понять, намекнул, если б было что-нибудь более определённое и понятное, он бы, выслушав, повёл бы себя иначе. Сейчас Весёлкин не мог бы сказать. Всё происходило спонтанно, естественно, под влиянием момента. Так следовало себя именно тогда повести.

Он думал, что не ошибся. Присутствие Зины с Зайцевым возбуждало. Ребёнок шёл тихо, держась за палец. И хотя Миша знал, что то не его ребёнок, долгие ночи и дни, проведённые вместе, физическая их близость, контакт между ними, возникший, установившийся задолго до появления того на свет, с первых недель после зачатия и нараставший далее, давали ему ощущение какого-то невидимого родства, родства прежде всего по крови, ощущение соединявшего их некоего мужского союза, установившегося и существовавшего теперь между ними, узы которого, возможно, прочнее, чем узы происхождения и генетического отцовства. Миша чувствовал, и имел на это все основания, себя в немалой степени имеющим отношение к его появлению на свет. Если не при самом зачатии, то во всё остальное время развития и формирования, Мишина доля была значительна. Это трудно было подвергнуть сомнению. Никто бы этого и не отрицал, из тех, кто хорошо знал Мишу и все обстоятельства. Мысль о том, что отец не столько тот, кто зачал, столько тот, кто вскормил, воспитал, как нельзя более подходила к случаю. Всё это и сверх того также и многое, не названное другое, давало ему несомненное право отцовства над этим ребёнком, возможно, также и над другими, последовавшими за ним детьми. Но он скрывал это и не любил обнаруживать.

Возгарёв, идя сзади, вышучивал Голованова, толкал его задом, давил, наступая на ноги, глупо хихикал. Они в этом отношении удивительно подходили друг другу, два из себя дурака. Один высокий и длинный, другой квадратный, приземистый, натуральный шкаф.

Лисой пробежала тень по песку шурхнувшего в спину тополя. Миша забылся в себе, оставил дурные мысли, отдавшись зреющему прохладой предчувствию близости, уже не раз обманывавшему его. Зина была близка, на расстоянии вытянутой руки и как никогда не доступна, под руку с Зайцевым.

Кто из них победит в этой скрытой борьбе усилий, борьбе эмоций, борьбе настойчивых и упрямых чувств? У Зайцева был перевес во всём – он мог обеспечивать, содержать, у него были деньги и сила, на его стороне был его характер, мужественность, непреклонность, нежелание слышать и понимать. На стороне Миши был не его и его ребёнок и все остальные дети, он это знал, которые Зине ещё предстояло родить. Это было что-то, хотя далеко не всё. Это было будущее, его росток в сегодняшнем, сиюминутном, неверном и расплывающемся вечернем свете после дневного дождя под парусом бестревожно качавшегося в ветре набережных линий серебристо-пирамидального тополя. Он походил на длинный, вытянутый, издали кипарис, могильным покоем, кладбищем вея над погребаящимися, захораниваемыми мечтами о женском теле, о плотской втроём любви, не подозревавшего Зайцева, хотящего всё для себя и презирающего чужие при этом желания и интересы.

Такая трактовка случившегося в тот вечер на берегу реки колорита вполне устраивала разгорячённого Мишу. Он с нежностью и любовью, припрятывая, лелеял и смаковал её, надеясь, взрачивая невидимым, скрытым семенем то, что желалось страстно и чему было быть по себе.

Обрамление

Запал туман в душу Филиппова. Сомнения шли одно за другим, перекладываясь, спеша, не давая опомниться. В тревожной белизне простыни он ощутил холод надшедшего предвещения, холод савана в уединении тёмных стремящихся сверху сил, в низ, к нему, лежащему, распростёртому в паутине беспокоящих крыл предчувствий.

Кто приходил, кто так пугал Филиппова, пытался пугать? Ни с кем ещё не бывало так страшно Филиппову, как с этим, лица и фигуры которого пытался он, но не мог разглядеть. Он чувствовал, ощущал только его приход и дыхание, его звериный полуоскал и маску совиных глаз, орлиного носа, крутого лба, силился углядеть, почувствовать, но не мог, не хватало сил. Обессиленный, падал в квадрат постели, от которой углами стремились к небу пирамидные грани, вверху завязывавшиеся в точку узла. Под этим сводом он чувствовал себя беспокойно, зажатым, стиснутым, примятым к дну.

“Что вы мне рассказали, Филиппов? — невидимый голос спрашивал, задавал вопросы, пытал. Филиппов не мог, не хотел отвечать, но слушал, невольно слушал, оказываясь, тем самым, свидетелем производимого над ним допроса или, если мягче, пристрастного разговора с собой.

“Ты меня сильно подвёл, Филиппов”, — говорил он вскоре, но совсем другим тоном, как будто не он говорил, прикидываясь, делая вид, изображая другого, то ли для того, чтоб Филиппов его не узнал и иметь для этого больше возможности что-нибудь выпытать, то ли по-другому не мог и таким уж он уродился шутком, перекидывающимся с одного на другое оборотнем. Не знал Филиппов и злился и выходил от этого из себя ещё больше.

Вокруг была тишина, квёлая и тупая, и не было ничего, что могло бы сказать Филиппову, что это было, кто приходил. Ни один звук, ни постороннее, могшее дать намёк движение, никаких шорохов, никакой суеты. Он и квадрат постели.

Не часто Филиппову случалось оказываться в столь нестерпимо гадкой, неразрешимо данной, впечатывающей ситуации одиночества. Обычно кто-нибудь приходил и разрешал возникающие тревоги.

Устало упали с утра жалюзи, с каким-то встревоженным стуком.

Конверт, валявшийся с вечера, так и валялся, никто его не убрал, не поднял, никому не было дела, потому что никто к нему не подходил.

Запропастился куда-то Миша. Наверно, по бабам своим, строптивый любитель женщин.

Филиппов неоднократно предостерегал его, и отечески, от всяких соблазнов, распутства, лёгкой поживы в телесной и плотской любви. Напрасно.

Сам он её не любил. Ему казалось, что животная страсть унижает, ранит душу образованного человека, губит её невозвратно. Культура чувств и высота устремлений, казалось ему, не совместимы с грубыми отправлениями. К тому же зависимость от человека другого пола, с иной психологией, с которым самой природой заложена невозможность взаимного понимания? Как-то всё это настораживало, доставляло ощущение неудобства. Что-то было в этом подозрительное и даже неловкое. Мишу же всё это не смущало, и это всегда было предметом неудовольствия для Филиппова, предметом какой-то даже его постоянной тоски, рождая в нём ощущение бесполезности каких-либо воспитательных направлений, подходов и усилий к нему.

Филиппов вообще придерживался того взгляда, что женщины – существа совершенно иной природы. Ему представлялось, и во всей своей очевидности, что и происходят они, собственно, из другого источника, не из того, что мужчины. В каком-то определённом природном смысле мужчинам ближе, по-видимому, дельфины и попугаи, чем женщины, а тем, в свою очередь, рыси и росомахи. Почему так, Филиппов не мог убедительно объяснить, он просто так чувствовал. Летящее, гладкое и стремительно-добродушное в открывающейся просяще-беспомощно пасти дельфина в воде и крикливо-кокетливое с косящим, видящим и невидящим глазом, манерно-заносчивое, с чувством не всегда оправданного превосходства, но при этом себе на уме в попугае, его шутовство, мелкопакоктность, с неистребимым, но спрятанным чувством любви и потребностью в ней, — всё это было более созвучно и более понятно Филиппову, в этом чувствовалось что-то, по его представлениям, типично мужское, природа мужчины, природа и его самого в том числе, Филиппова. В то время как хитро-скрытное, росомашьи страстное желание власти, желание подчинить себе, но невидимо, и

подавить, с подкрадыванием со спины и сзади и никогда в глаза, как у рыси с прядяющими ушами и скрытым гасимым огнём за долгими опускаемыми ресницами, — это вот женское Филиппов и избегал, и боялся, и чувствовал кожей, и никогда не мог (впрочем, и не пытался) понять до конца.

На самом деле, по размышлению, оказывалось, что мужчины, в представлении Филиппова, более женщины, чем сами женщины в привычном их восприятии, а женщины просто другие совсем существа, не этого, пограничного, лесного какого-то мира. В каком-то средневековом упрямом сомнении готов он был даже отказывать им в наличии индивидуальной и личной души. Душа их была как бы общая, одна на всех и большая, лесной хозяйки, Медведицы, Мари, которая смерть, и убийство, и грубая сила, которую трудно понять, постичь, невозможно себе подчинить, можно только ей подчиниться. Почувствовать и воспринять её означало отпрыгнуть и более не приближаться к ней, бежать её всегда и во всём. Тот же, кто тёк к ней, кого к ней влекло, был обречён. Душа его была тёмна, для себя самой не доступна, не выразившая себя, себя не обретшая, потерявшаяся душа. Такая, выходит, была и у Миши.

Кровать была тяжела в своём увесистом, скрытом пологам постановлении. Филиппов всем телом, всей задней частью его в особенности, чувствовал эту тяжесть кровати, она передавалась ему. Он на неё давил, и она на него давила, оба в слиянии, в свитости двух привыкших друг к другу, сросшихся, соединившихся тел. Кровать была тяжела, была беременна им, Филипповым, и носила его, зачатого им самим в себе.

От окна отделилась тень пробудившегося сопровождения. Отделилась и стала у изголовья, над головой. Ноги лежали под одеялом расставленные, в растворе, ножницами, раздвинувшими свои острия.

Филиппов видел, наблюдая себя, со стороны, сверху, сбоку, одновременно со всех сторон.

Голос ушёл. Или спрятался. После того как Филиппов подумал о коварно-предательском мире уловляющих души женщин.

Филиппов досадовал на уловление Миши, на имание его ими в сети своих страстей. Его это огорчало. И как было ему объяснить, что всё это не так важно, всё это преходяще, минуемо, то, что от них исходит, и то, что они дают, что они могут дать. Что всё в них и, следовательно, от них обманчиво, иллюзорно, минуемо. Само иллюзия, оно только иллюзии и рождает. И то, что кажется, что он получает от них, на самом деле он получает от самого себя, источник в нём, они только водят за нос, давая думать, что оно от них, на деле же они просто питаются с ним, от него и через него от его же. Стоит ли это делать? Не лучше ли не позволять так с собой обращаться и поступать? В то время как то, что на них мы теряем, неизбывно, невозвратно, так это силы, желание что-то делать, как-то себя проявить, стремление и необходимость быть собой, тягу неповторимости, чувство свободы, меры, в конце концов даже чувство любви и полетность. Неотвратимую легкость и открывающуюся перед тобой широту.

Чем была любовь для Филиппова? Пожалуй, всем. Он всё мерил ею и проверял на ней. Для него она была всеохватным, неистребимым желанием воплощения себя во всём.

Женщины же хватают и поглощают её, забирая её у тебя и принуждая потом повторять лишь её самое, не способную к этому самостоятельно, без него, без мужчины. И его потом очень скоро нет, он весь поглощён, втянут в сооружение не себя, вклучен в строительство образа, для себя чужого, он уничтожается, распадаясь на части, из которых лепит она не его, а своё подобие, не создавая при этом отнюдь ничего другого и нового, но поглощая при этом и силы и всю энергию создателя на пустоту.

Это-то и было страшно Филиппову, это-то и пугало его – опасность быть расчленённым, став материалом для чуждого, пугающего природой своей, насильственного, понуждающего строительства. Это был вечный Египет. Работа над кирпичами в поте лица.

Вздрогнул Филиппов от напавших предчувствий. Стало не по себе.

И ради мира и спокойствия при сожительстве с этим монстром человек вынужден жертвовать всем? Собой, своей

совестью, своими желаниями, настроением, убеждениями и вдобавок свободой? Что получает он при этом взамен? Неверный и зыбкий мир, в любой вероятный момент могущий лопнуть, развеяться и исчезнуть как дым, вместе с дымом?

Это что-то Филиппову напоминало. Из того, что только что приходило, сидело, допрашивало, было здесь.

В холодном поту, с дрожащим взглядом Филиппов приподнялся на локтях, уставившись в темноту.

Она молчала. Ни звука, ни шороха, никакой суеты. Никаких, даже видимых теней чужих желаний, страстей, обид. Словно не была ничем перед тем беременно-тяжела, никаким стремлением поглотить Филиппова, никаким даже намёком на оплодотворённость им, никаким, даже малейшим, даже по видимости, желанием его естества.

Филиппов снова упал в постель. Как тяжёлое дерево. Как скатившаяся голова. Как капля, набрякшая, стёкшаяся и павшая тяжело. Чувство опасности, однако, вовсе не покидало его. Оно как бы слегка растворилось, осело где-то, в какой-то досадовавшей глубине под желудком.

Медленно плыли букашки по потолку, сплошной лавиной, рядами, потоками, стриженным газоном фантастического ковра, в отсветах и переливах производившего впечатление глубоких, идущих снизу, струящихся, низко посаженных вод, прозрачно-тёмной поверхностью своей отражавших, запечатлевающих концентрируемый ими в блёстках, сияниях, всюду разлитый свет.

Филиппов не видел всей этой одуряющей магии света и тьмы. Действительно ли не видел, не хотел замечать, привык ли уже? Всё ему представлялось из внешнего мира сейчас не стоящим, будничным, внимания не достойным. Филиппов был погружён в себя. Мысли шастали плоскими рыбами в привычной своей среде, прорезая останки бывшего сна, всплёскивая крутящимися хвостами, невидимые, неуловимые, сами в себе, своей собственной волей.

Мерилом происходившего была душа. Филиппов чувствовал её в себе как прохладный, охватывающий, волнующийся и подрагивавший газовый штоф, плоское,

пульсирующее, колющееся иголками облако. Оно было в нём, его пронизывало и уходило, текло, растворялось дальше, растягиваясь на все стороны, вверх и вниз, сзади и спереди, текло, увлекаясь, и то оно было доступным, плотным, качающимся, Филиппов чувствовал концы и границы его, знал, мог сказать о них, то, напротив, уходило так далеко, в такие невидимые пространственные глубины, что Филиппов отнюдь не чувствовал, совсем даже не ощущал, не предвидел его границ. Такое состояние души было самым пьянящим, самым волнующим и упоительным, но оно и пугало, когда Филиппов задумывался о нём.

Какое-то напряжение в этот раз мешало, сдавливало, не давая себя ощутить. Беспокойство за Мишу, его постоянно повторяющиеся истории с женщинами, замешанное на ощущении какой-то непоправимости, искажения в нём, что не было уже связываемо с неопытностью и незнанием – Миша знал всё, был осведомлён и испытал уже кое-что, — это ощущение и беспокойство смешивались с другим, тревожным. Не случайно душа Филиппова колыхалась, вибрировала, не стремясь, однако, при этом утечь.

Обнаруживалось что-то и уплывало. Падал какой-то тяжёлый замедленный шкаф, всплёскивая, взметая, поднимая вокруг клубы пыли, летящие в стороны словно струи дождя, погребая неясную какую-то, прятывшуюся сухотку, какую-то лысую плешь, смысл которой своим падением не давал осознать. Это тревожило, волновало Филиппова, беспокоило и раздражало его на квадрате постели, в положенном состоянии ждущего объявления – что вот сейчас всё откроется, объяснится, скажут, а не только будут пытаться. Но ничего этого не происходит, а вместо этого кидают, пряча, скрываемое в глубокую воду, омут, так, чтобы уже никогда не достать.

Бессильно, снова поднявшись, падает на кровать Филиппов, уже ничего хорошего для себя не чувствуя, не обольщаясь внутри ничем.

Остановленное движение

Шутили своё. С трепетом к неизвестности, но как-то глупо и пошло. Не испугавшись, как бы то следовало и должно. Не побоявшись последствий и их причин.

Кричал опущенный в воду на стропиле Каюров, словно подвешенный за волоса. Плывши к берегу, был остановлен компанией из трёх верзил. Один из них был солодухинский приспехач, надоевший всем. Двое так, набрались с дороги. Этот Люморев постоянно кого-нибудь подцеплял.

На дебаркадере пошатывало слегка от находившей волны, и мочить Каюрова им представлялось весело и интересно.

Вода была зелена натянувшей тиной и, покачиваясь, червонела в запрятанном внутри себя солнцепёке, подкатывалось каким-то густым неразведённым чернилом к мохнатому боку причаленного вокзала.

По поручням, по парходным палубным этажам, крытым белыми проймами в междуоконьях отсвечивавшего стекла, по приседавшим сходням в железе звеневших окольцованных струй, поддерживавших пространство путей перехода, по трубным на высоте ступенчатым вознесениям ходило бахромчато-жёлтое солнце, посвёркивавшее игривостью предзаката.

Шлёпнулась шина кольцом в носу, привязанная за цепь для смягчения удара, поведённая перекатом, со сваи. Загукала, зашуршала свербью, втягивая в себя, водяная, под борт, воронка. Ярко вспыхнули стёкла окон, на поворот лоя блик, и по рамам, по низу, от одного к другому, перебежала сободем спорхнувшая с дерева тень луча и тень с ним таинственного, непонятного, насторожённого простоя, словно ветвь с рукава отряхивала за день натёкшее преполовение.

“— Сизый мой, сыромятный мой, намоченный мой и всклокоченный, — сверху кричал веселящийся Люморев плававшему Каюрову, бултыхавшемуся не в состоянии сдвинуться с места на грузе, привязанному к ногам.

“— Ё, да тут не так уж и глубоко, чего он там припендюрирует, плавать можно вполне, очень даже, можно

сказать, я тоже пробовал в прошлом году ногами дно доставать, если на цыпочках и руки кверху, то получается, — похохатывал рядом с ним стоявший один из верзил, в то время как третий с сосредоточенным лбом и выпяченными в трубочку кривыми губами водил по воде верёвкой, прицепленной вторым концом к канату с грузом Каюрова.

“— Надо же, как хорошо. Как сладостно, можно даже сказать.

“— Какая ель, какая ель, какие шишечки на ней, — процитировал хитрый Люморев, ни на кого особо не глядя, глядя перед собой, куда-то вбок от Каюрова.

Тот плавал в одежде, стойко выдерживая производившуюся над ним экзекуцию, стараясь давать тем как можно меньше повода для веселья, по временам только отплёвываясь от попадавшей воды, бросая косые взгляды сквозь сощуренные ошетилившиеся глаза. Слипшиеся волосы и мокрые губы придавали ему вместе с появившимся и сквозившим презрением вид свирепой невозмутимости, внутренней собранности и назревавшей готовности отыграться.

Каюров мерзкий был человек, и всё в нём было какое-то гадкое, мерзкое. Насолить Солодухину казалось для каждого было бы добрым делом, но Каюров производил это с особым усердием, с каким-то страстным самозабвенным тщанием даже.

Кричали под окном пьяными голосами, громко, истошно, переходя на орлиный клик, словно глаза вылупливались, и вместо глаз становились пустые воронки и вылезали из мест кривые гусиные кадыки с выбритыми, как выщипанными, в пупырышках складками.

Громче всех, истошнее всех кричал Каюров, закидываясь и смеясь про себя. Для него не просто имел значение сам факт совершаемого, но и его неприглядная подоплёка, досаждение Солодухину, подведение его под подозрение и признание за собой вины.

Было убийство. Кого-то резали, слепо и беспощадно. Следы никуда не вели, но хотели их подвести к нему, к Солодухину, и Каюров мог и старался помочь. Для этого и

собрались и кричали истошно, майскими таинственными влажными вечерами, когда расходились все, прятались по домам, но оставались в бодрости, блуждая неопределённостью сна.

Пробуждавшийся клик четырёх человек был тревожен, прорезывая волчьей дичью своей настоявшуюся, насторожившуюся, натёкшую тишину. Кричали под окном Солодухину, с разных сторон, удаляясь, словно влеча за собой, из кустов, из-под деревьев, надвигаясь, откатываясь, предвещая тревогу и затаившуюся в лапах теней, поджидавшую смерть.

Смерти ли Солодухина предвещали, выкликивали, от него ли смерти другим? Никто б не сказал тогда, никто и не думал об этом. Каюров выкликивал с особенным чувством, захлёбываясь, дикой, хищной, фантастической птицей. Ему и должно было достаться больше других. Его-то и подстерегли, крадучись, словно идя на зов, по тихим, кошачьим лапам-стопам.

Открывал он себя в этом птичьем крёке, то чайкиным пронзительным резким всхлипом, то утробным, низким покальванием с перехватом и плывущим, курящимся взвизгом к концу дрозда – глаза, закатываясь, сверкали в ночную мглу, и луна освечивала запрокидывающийся длинный и в пятнах торс.

Схватили с трёх сторон, навалившись и сразу не дав кричать, заткнув раззявленный рот тремя в прелой земле руками, запечатавши в заскорую тьму. Крик кусался, полз между ними змеёй, извивался, бился, но было поздно, сила давила силу. В уставших биться руках сволокли со стези, впихнули в кузов и повезли, мешком сложив перевязанного в углу и насев глухо сверху.

Потом кидали, подбрасывая и резвясь, закатив рукава как при рубке дров. Потом опустили, не развязав, бросив кулём и резко. Пихнули ногой, подвернув повыбившуюся полу. Запузырили камнем в какого-то вывернувшегося бродячего кобеля, пугнув, чтоб не путался под ногами. Занятые серьёзно, не жаждали никого в свидетели. Потом двое из трёх ушли, оставив этого третьего на какое-то время возле. Бежали за крюком к дебаркадеру. За крюком и каким-то грузом.

Вспомнилось весёлое время в чирикавших воробьями кустах. Так же лежалось почти что в открытом поле. Справа канал с водой, в густую тяжёлую клетку осенних завес. Слева посадка деревьев, полого клонившихся одно на спину другому, но не достигавших каждое этой спины. Дышалось напитанным влагой воздухом у воды. Воробьи чирикали – как будто крутил их кто в карусели – встревоженно-изумлённым хором, словно бившиеся висячки на проволочках хрусталя.

Почему это вспомнилось вдруг Каюрову и что собственно походило на это вокруг? Видимо, походило, раз вспомнилось. Также мокро было под животом. Также лежалось закаменевшей физиономией почти что в луже воды. И также виделся около глаз только один сапог рядом стоявшего Конопатова. Но тогда он был волен, никто его тогда не вязал и перед тем не подбрасывал. Ему нравилось так лежать, прижавшись к шуршавшей земле, слушая капельное движение прессыщавших её своей влагой соков.

“— А ну, поверни! На ноги мы ему подцепим сейчас вот этот галган, чтоб стоял мертво и не вертелся волчком, а сюда попритыкнем вот энтим, — и весело, по-деловому принялся он засупонивать и перетягивать чуть ли не заново лежавшего в лужах Каюрова для намечавшегося нового бытия.

Плеснула большой и усталой рыбой проходившая мимо вода. Прошуршала дальше в тростниках и таволгах. Словно со дна поднявшись вышла задумчивая луна в невидимо тёмном свете сопровождения и так же невидимо хлюпнула в незамеченном взломе речного изгиба. Переломившись, качнулась, тронувшись, стая не встреченных сазанов – привидений в ковше воды, некогда бывших здесь, но давно забывших когда и по привычке лишь возвращавшихся, как к месту потери возвращаются потерявшие свой покой.

Часы Конопатова тикали, отчего-то на рукаве, словно снятые и висевшие теперь от него отдельно.

Ещё он помнил, как тащили кулём по песку, забивавшемуся в ботинки и в воротник. Как двое шли впереди, а один шел сзади, и он наблюдал у них только то, что давалось: болтавшийся перед глазами кушак, борт полы, хлопавшей по

висячему крупом заду, окутую в камень пята, вздымавшую взвой песка, такую же, столпом стоявшую, пята другого. Тащили Каюрова с приседом, прижимая стопами к поду, тяжело ставя колоды негнутых ног.

Ещё он видел озёрную гладь небес, шевеливших своим окоёмом у с грустью помахивавших головами вётел. Трость шагавшего сзади, засыпавшего ею каюровский санный след – то ли от безделия и пустоты, то ли в предосторожности, чтоб не было сил распознать, что с Каюровым случилось, какое гнусное развлечение производилось над ним тремя солодухинскими громилами, медленно с ним бредущими друг за другом вслед.

Потом подтащили, едва не ногами вперед, поворачивая и крутя в перекатах, к началу торчавшей сваи, и перекинули. Качнулась железная жестяная плоскость под ним, угрузившись сначала и выпрямляясь снова, стукнули ноги древесными каблуков о подножия плит, тяжелым мешком пал он сам, и они вошли тут же следом, погромыхивая и скрипя песком.

“— Ща мы его разберем, ща испортим, давай, подвигай, сюда, — Конопатов возился с цепью, мешавшей выкинуть сразу за борт, гремел, грохотал, а Люморев подбирался все ближе, ближе, мечтая исполнить давно заветное, с каким-то одновременно сладостным и сладострастно-гадостным чувством, словно сейчас и только теперь удавалось ему постичь весь смысл своего отношения в лице Каюрова к ближнему. И постичь его в ожидавшемся намочении, подхватив для чего, приподнявши, обняв, прижав близко к сердцу, натрепнувшее в предварявших тасканиях и тисканиях человеческое нутро, и шлепнуть, с зеванием и тоской к распахавшемуся над дебаркадером шару неба.

Это и произошло, несмотря на цепь, через которую сам он не пролетел над водой куликом, запнувшись, только случайностью, выпадающей раз на пять или десять подобных швырков, и потому только, что с такими, как он, ничего почти не случается, их бережет обиженная ими судьба, в забитости и обойденности изредка только помахивающая на них из кустов капризно-ажурным шуршавым шелком.

“-Морденто, — хрюкнул довольный Люморев, обтирая уставшие руки, — шлеп и еще раз шлеп и потом шлеп-шлеп, гениальная музыка, обожаю таких, Бетховен, Моцарт и сразу Глюк. Где он только такой гармонии научился? А может быть, кто только его не кидал? Каюров, тебе не холодно? А то можешь снять штаны.

Снимать штаны Каюрову не проходило, хотя теперь они были ему не нужны, он был связан. Охватившее облако нитей тяжелой воды втянуло его в себя и приставило где-то внутрь, как к горлу, желая и опасаясь выплюнуть, у какого-то околяемого своего кружения, как перед омутом, покачивая и шевеля в предваряющей его кобуре, не зная, что предпринять и что будет дальше, как поведет он себя там внутри, вовсе не близкий и не приятный ей.

Опыт каюровского общения с водой перед этим не был надежным и благодушным. Он не тонул. Его в нее не бросали. Но все же случалось набрать ее во врата души и, переворачиваясь на катере, помнил он, как расширенно и пожирающе – то ли от ужаса, то ли в желании поглотить – смотрела она в него его собственными, отражаясь, переворачивающимися глазами и немо вопила, не жаждая сразу его принимать, твердого, в мягкую свою нутрь. Зрочки воды по сию пору помнились и в нем шевелились, вопя и терзаясь душой убежавших от страха пят.

А тут, с этой теплой компанией трех толстоперов, сдиравших трепетность бившихся чувств тупым и грубым своим наждаком, всего ожидать стало можно, на все способных и ко всему пригодных. Вон гадкий Люморев в смычковом ударе действительно расстегнул штаны и поливает из труб и без того переполненное водой речное пространство. И похихатывает и притопывает при этом. Чего от него ожидать? Вон Конопатов, подобрав где-то с жестяного полу проржавленный с гнутой резьбою прут, хлопывает им себя по штанине ноги. А третий, согнувшись над поручнем, плюет в проплывающие круги, стараясь пеной слюны обплюнуть бурую пену всплывающей шлепками воды. Чего от них ожидать? И они забыли совсем, насладившись в мести, про плавающего рядом их ног и штанов

Каюрова. Забыли уже или делают вид? Грустно от этой мысли в воде Каюрову, неизбежно, невыразимо грустно.

Человек судьбы

У чая сидели двое. Зина и Зайцев. Ребенок возился возле. Сушились мокрые на ветру за окном порты. Не его, не Зайцева, неизвестно чьи. Кто-то оставил их уходя, наверно, из тех, из этих.

Собственно и не чай это был никакой, так, неизвестно что. Вечер был тих и прозрачен. Пролетевшая муха была видна. Сосало под ложечкой отчего-то и было не по себе.

Все было не так, как думалось. Расчеты не оправдались. Зайцев, как оказалось, хотел совсем не того, что Зина могла ему предложить, чего-то большего, чтоб не сказать чего, в его голове и чувствах путалось не оформившееся желание душевности и покоя, словно прибить хотело его к какому-нибудь постоянному месту, как говорят у них, у водителей, к тихой гавани. Но Зина не может быть тихой гаванью, не отстоялось в ней, не отпрыгалось, и это подскакивавшее мешало самой ей внутри разобраться в том, что там есть и что ждет, что будет. Как перед выбором вновь постоянно натуживающийся абитуриент, расpiraемый маетой сегодняшнего, но более завтрашнего, она не знала еще ни кому, ни как, может быть, где-то в глубоком нутри, извороте, не ведала, не хотела знать? Опасения же теперь оказывались почти что напрасны и никчемушны, как выходило. Еще с утра, потому и не еденного и потому бестолкового, представлявшееся ей неизбежным вдруг развеивалось как дым. Того, что могло быть, не произошло, ломило и в поясницу и в животе – от пробежки ли на природу или еще чего-то? Тогда зачем он и нужен был этот сегодня Зайцев? Когда там садилась в машину с ним на берегу, не знала еще, что нету, что пронесло.

Теперь донимал сидел. Разговорами о собственной значимости, что много привозит откуда-то там на своем контейнере. О маме, о даче и о друзьях. В голове звенело и не отзывалось ничто на его слова.

Представлялся лелеемый Ванечка на берегу ручья, которого и не видела никогда, которого никогда-то и не было в золотых кудрях с опушкой тревожащих по щекам волосков. Думала, хоть ребенок будет похож на него, так куда, черный и масляный! Возится вот теперь в углу с песочным своим ведром.

“Открой мне объятия свои, сон, и я приду и вольюсь туда. Тяжелые линии накидал на постель закат и по буграм заходили плакучие в прорвах луны” — крышка откидывается стола, вынимается папка в косую сажень, тетради в папке, пенал и тетеревиные перья его пастушковой поросли. Следы вели в никуда. По тихому фону тревожной волной ходили карнизом голуби с раскрашенными кармином глазами и клювами. Одни целовались свернутым в трубочку ртом, наверху в каймах, другие боченились, жмурясь в курчавости девичьих век, третьи, там и тут, появлялись в листах страниц, рассыпая буквами зерна, падавшие им на головы, на подставленные хвосты и крылья.

Никто тогда не пришел, а потом уже приходившие были не в счет, не за тем и не с тем они приходили.

У Зины веселые были дни, всегда были дни веселыми с ними. За окном на балконе махали крылом порты, отлетевшей на ветер птицей, отлетевшей, оставившей перья свои загорать. И так всегда – улетают и оставляют перья. Зайцев только вот тих и сидит ни к чему в тяжелом насупленном подбородке пустых и голых своих бровей.

Хорошо той Маньке, у ней всего два – свой и Корзинкиной, всегда известно, когда и что, и все-то у ней, как у Корзинкиной, как по часам, никакие дни не надо считать, довольно у Корзинкиной справиться, а ей каждый раз что делать?

По пляжу плескались шепелявые шорохи волн в песках. На молу качались палубой мачты, и в прозрачно-темнявой воде колыхались впрыснутым внутрь белком медузы, местами выкатываемые на берег шлепком. Ноги по щиколотки были оставлены в перебиравшей их пальцы бухте, то надвигавшейся почти до колен, то отступавшей, и это движение взад и вперед, и блики зашедшего в молочных тучах луча, точно также как всё поднимавшегося, опадавшего, шевелившегося, укатывали,

укутывали, мяли и увивали, любя, собой. Зина забылась и отдалась качанию ветреных волн, поскрипыванию ладоней под головой песка, пошлепыванию по пяткам тяжелого мокрого лепестка воды.

Он не был как все, этот длинный и косоглазый, с слегка измученным изворотом губ – с запятою рта на вырезе ей знакомых всегда тире. Может, этим ее привлекал? Но нет, вроде что в этом? Пустое. Плечи не выдавались, как у этих других, и не было линий таза – спины – бедра, атлетических построений недавнего ее прошлого. Все как-то буднично, серо и подомашнему недолеплено, как у в свисавших всегда в своих парусинах на коммунальных кухнях в далеком детстве штанов. Какой-то болезненно-хилый и скомканный пост-строительный декаданс, когда трубы свое отпели, а мусор не разнесли.

Что такое могло с ней случиться? Изменился вкус или так она свяла в последние дни, что дутые уже и пружинящие на мускулах перестали ее замечать? Конечно, подряд три последних подарка с Витечкой, после чего пришлось с ним расстаться, были уж слишком, и здорово подорвали ее цветущий до этого вид, но не настолько ведь, чтоб уж совсем?

И кто он такой, этот кривой Феоктистов, любимый Малининой двоюродный брат? Рисует натуру и кучеряво пьет, рассказывая, набравшись, про африканские чудеса, ни глазом никогда не моргнет при этом, уставясь в тебя, ни рот в запятой не поправит, всегда кривой и вниз? Малинина вылетает, надувшись на Зину, изнерничавшись, испереживавшись за Феоктистова и нее, и дверью ляскает как подвернувшимся на чугуне каблуком. А ничего ведь и не было, нечего было ей вылетать и дверями ляскать, потом по лестнице вниз, как в метро головою гудящий поезд. Что и быть-то могло, после того, что было? Не аклималась еще и в себя не пришла. Да и на Феоктистова того посмотреть, одно плакать в голос да волосы рвать.

Однако забрал. Поташил ее на свои перевалы в лесных горах, а оттуда к пляжу. Лежит вот она теперь и на солнце смотрит. И ведь как есть ничего-то не было. Все про какие-то вещи рассказывал, про внутреннюю и внешнюю гиль, а вот две

недели уже вдвоем, и как есть ничего. Непонятно только, зачем кудрявая та Малинина дверью пляскала, что она хотела этим свое сказать, кого и к какому порядку призвать и чем таким озаботить? Если его на любое с собой randevу бери и ставь заместо светильника, будет ртом кривить и глазами не хлопать и ни во что не лезть?

Ложечкой Зайцев мешает чай. То, что осталось в чашке. Зина не слушает в мыслях его мешания, у нее своя в уме грустная повесть. Свой в голове сидящий и не дающий покоя ей человек судьбы.

Кому отдать себя по покров? Да и найдется ли кто такой? Все они заняты каждый своим, а до Зины и дела им нет. Всякие ей попадались – и чистые, и нечистые, и такие, которым много надо и часто, и такие, которым совсем не надо, и такие, что даже с деньгами, хотя слегка, и такие, с которыми можно не предохраняться, и такие, что только что от жены и даже готовы ее, говорили, ради нее, то есть Зины, оставить, ради ее голубиных глаз, но что-то в них всех не хватало, и даже если сложить всех вместе, чтоб получить одного, то и тогда бы не было в них того, что надо.

Не было того и в Феоктистове, которому ничего не надо, хотя Малинина и фыркала всюю на нее. Но почему он тогда у нее в голове, как гвоздь? И что такого его напоминает ей в Зайцеве? Зина рискнула поднять глаза в своего визави. Сидит, мешая ложкой в чашке, говоря, что ли, что там в ней нет? Так вроде не может он так говорить, вроде как так не воспитан, пошел бы налил бы, взял бы, когда б хотел. Но что-то ведь есть, должно быть неуловимое?

Бряк ведерка, ручкой бьющего по доске, звяк мешаемой ложки, не отпустившее до конца с утра еще опасение, хлоп портов за стеклом окна в матросско-ветряцком вертлявом своем лагерно-пионерском задоре – все это вместе вызывало блевотный какой-то позыв, спазм внизу живота, с которым справиться не было сил. Почти поняла она сходство Зайцева с Феоктистовым, нутром его ухватив. Не пляжное это было сходство. Сходство присутствий и ожиданий – их случайных присутствий после ее выцарапываний и

своих выжидательных опасений относительно них, напрасных, по-видимому, для них обоих.

И как ни странно, от этой сопоставительной мысли Зине не полегчало. Напротив, стало совсем мутить. Хотя, собственно, Зайцева вовсе нельзя было бы заподозрить в том, в чем можно было бы подозревать Феоктистова, хотя и его поведение ни о чем еще не свидетельствовало, — опыт Зины общения с Зайцевым не давал ей возможности предполагать ни того, ни другого, — но что-то было в нем непонятно тоже кривое и длинное, в носе, в отвислой теперь губе. И хотя губа была как губа, пускай и отвислая, в меру сухая и в меру влажная, не какая-нибудь там отвратительно вызывающая, капающая, слюнявая или какая-нибудь еще, но сейчас, в сидящий этот напротив момент, она вызвала вдруг шевельнувшееся сравнение, отнюдь для нее не выгодное, хотя от нее не зависимое и с ней даже никак не связанное, — чего-то плешиво-плюгавого, голого, бесстыдно нагого и нутренного, как в том медузы шлепке на песчано-шепшивый берег цвета матово-трупно-серой золы. Зину потрянуло в приступе отвращения, стоило только все это между собой связать. Она поднялась, двинув тылом колена стул, и подошла к окну. В глаза мотало раздвоенный стяг, вчера еще кого-то из них облежавший, она знала, конечно, кого, но не хотела помнить, вымарывая все то вчерашнее, что могло еще стать ее завтрашним снова днем, и так и опять по тому же дурному кругу. Встала и, подойдя, уперлась в стекло разгоряченным по-бабы лбом, не в силах собрать теперь разбегавшихся талых мыслей.

Кругом намело какого-то непонятного неразгребя у плит балкона, где еще вчера ничего того не было, а был только этот в штанах. Валявшиеся окурки без пепельницы и поживения к делу совершенно теперь негоджались. Когда он успел навалить?

Псу под хвост летели остатки, казалось бы, дней. Хотя что, собственно, было в них?

Был Ромочка. Кудреватый роман под ручку в неясной и голубой мечте. Не родился еще такой, чтобы ей угодил, — это помнилось чуть не со школьной скамьи с подружкой Кирой вдвоем в мечтаниях флеров, рододендронов и апельсинных

цветов. Кира повышла замуж и укатила, а Зину оставила, вот теперь даже с Зайцевым на двоих. Веселая вдова – так, кажется, их называют, таких, как она.

Рисовались ей миллионеры и музыканты в мечте. Крутобокие белые с трубами яхты и вой негритянских принцесс, отдающих его ни за что – таинственного фигляра в желтых очках и обязательно белых брюках, на которого порассчитывали как на белого своего короля из саванновых глупых джунглей, – отдающих ей, потому что она подвернулась вовремя, а это не ерунда.

Для этого ездила на курорты к морю, за негритянским счастьем на острова, но не находилось. Находилось совсем другое, привычно муторное, сосущее состояние захотевшего быть вдруг в его мошне и подаренного сразу же ей, чтобы не копить, не держать в себе его в этом желании, щедрой открытой мужской рукой. Как дарят иные бриллианты, иные звезды, а редко кому – перламутры и жемчуга огромных лиловых всегда постелей и личных пляжей в распахе песчаных и жгучих дней. Песчаные и жгучие пляжи были, но без перламутров и жемчугов, и даже не было бешено одаренных судьбой музыкантов, разъезжающих не по одной стране.

А ведь никто никого никуда не пускал. Она еще помнила. Стервячьим манером выбиралась только одна коммуна полусексоток и крашенных рыжим баб за ближайший бугор, да и то с трудом, и думала в ёке, что вся она уже там, с потрохами и плёхами, потому что рыдала, когда возвращалась, увидев все тут и там. Нехорошо она говорила всегда про них, но добрых слов им не находилось, потому что, думала, если бы не они, ничего бы не стоило подобрать того музыканта, в кожаной курточке мотоциклиста и сапогах.

Взамен теперь колыхались порты, неизменно, как понакатанному, испутившие из себя то, что не было нужно, что не просилось и что, прилагалось если бы к парусиновым пляжам и долгогривым сияниям бликов в бассейне воды, еще бы можно было стерпеть, но не здесь, не теперь и не сейчас, с этим Зайцевым напридачу.

Стыла вода, не опробованная балериной вытянутою ногой. Плескались любовники на потонулом прогнутом под ними матрасе, лениво шлепая спущенною ладонью рукой. Пальцы их перебирали волосы тысячью раз надоелых струй, и в той подставленной призме воды не было места пространству низа, казалось, лежат они спиной и задами на дне, затылками упираясь в пустую невидимую прозрачность.

Когда был ребенок – то плавал в лебеде, ногами тюкаясь под собой.

Когда приходила теща с приятелями, спускалась медленно по мосткам и настилам, словно бы подбирая юбку, боясь замочить, за важностью переживаемого ею момента, забыв, где она и что оно собственно есть вокруг, а друзья вокруг нее плавали, как дохлые кверху рыбы, жмурясь и окочуриваясь на солнце, совсем почти разомлев в сияющей ослепительной пестроте. Приносили зачем-то цветы в одиноко-длинных стоячих вазах и вспотевший в стекле джюс оранж. Кто-то бегал на каких-то мглистых в тени задворках – из горничных, не то половых, подносявших и прибиравших в впопыхах разлетающихся бело-муаровых крылышках и кружевах. Ах, как все было воздушно, как эротично-восторженно и как тянуло туда, на топчан, под вечнозеленые лилии свесившихся экзотических в кадках пальм криптомерий и стреловидных реликтовых йюйюбо-агав. Если бы все так было. Если бы унести. Если бы только хоть Дормидонтов тогда унес – единственный, кто из ее знакомых уехал, из тех, кого она вспомнить могла. Но нет, не унес, и нет теперь того Дормидонтова!

Без тормозов

Четвертый день горели леса, и было жарко. Василий пришел как обычно к обеду. Маланьи не было. Сдуло Маланью совсем. Последнее время все более тянет ее куда-то свернуться с копыт, и Василию это не нравится в тишине своенравья и терпкой мужской тоски. Кулак почесывался, большой и лохматый, и

шевелились жилы на подбородке и животе. Казиродов не приходил. Не дундел свое в непонятную мглу и смерть. Поэтому и подзадоривало и подмывало сказать и исполнить.

После бани парно было. Не отошел еще от солярки, весь был в клубке ее потного шара вокруг себя, словно в копоти сползавшей к укуту зари.

Сел к окну. Облака плыли ткущей мимо него рекой. По жабры влезала в изморозь тины разбитая в никуда и проржавевшая на таске своей ладья. Как на ней и куда теперь плыть? А ведь когда-то и что-то значила. Он вспомнил, как дед еще катал его здесь на этой моторке. Мотор кряхтел и чихал, но пер, понукаемый твердой рукой правителя, как все тогда перло под той же железной правительскою рукой, и никому что ведь ни припадало в дурную голову посумлеваться, что под ей перло – шло себе и ишло.

В сите дня паутин показалась еще одна сбоку барка, толстая, как наплавивший восьмерик. Потом завыскакивали из-под нее полудремотные кони, мохнатыми дымами труб всколыхнувшие марь рукавов. В далеком сеющемся блистании заходящих воздушных глубин корявились ноги задранных к небу кранов и ничего не маячило, не покачивалось, свисая, на их ступнях. Словно заснуло в циркачьем своем выкрутасе, не собираясь обратно вставать, как и все, — ходя головами в плескавшей у рельс меледе на мокрых своих ушах.

Сюсюкалось где-то в кустах. То ли суслик вдруг заблудивший зашел и свистел к грозе, то ли так себе птицы, заукладывавшиеся, зашаркавшие вдруг тоже к вечеру перед ночь.

Лениво было, и не хотелось двигаться и куда-то идти, хотя Маланьи, ушедшей, не приходило. Казиродов, что ли, опять увел на какие-то там опять свои мерихлюндии. Пока соберутся сделать чего, пока рассудят, разговорят, уже и день, не то чтобы к вечеру, а почти шась темно. Так всегда. И говори Казиродову не говори, в пустую и бесполезную бочку – и льешь, и жалко, и как не лить? Лопотливая мякляя квелость и не расхлебываемый кисель, а Маланьи только того и надо, время прет как с крутой горы, ничего

не деется, все стоит, но зато полнота и радость общественной кучерявой жизни.

Веселая баба Маланья досталась на именины. Все себе хлясь да верть на стороны подолом – и ни Василью радости, ни себе в гузне, все в том чужом, вкруговерть общественном. А Казиродов и рад, ему детей своих не крестить, на таких, как он, воду не возят, он себе тоже хлясь языком-помелом, повозит, и все и вся приберет, и баб всех тех, мужевых неудачниц, как квочка, под колокол к себе в оборот крутанет, и ваваканье, и квелое бляение на какой-нибудь день по любую пору, и все идут на него, и хорошо им всем с нипочем в пере, и гудят на ём и веселятся всласть. Зато ведь какая деятельная, какая серьезная лепота, и неоценимая, главное, что никем.

Василию это и на работе не сильно приятно стать. Мемекал и измыкал. Теперь же, с Маланией обок пятой годок, так насовсем сомлелось. Но не скажи, избидится и начнет изводить. А Казиродову и намека не дай – что ты, как это, он коллектив, так куда ж это так это? Хуже еще, чем Маланье.

В окне воды проглянулось что-то. Не облако, а плывет. Дед бы жив был, схватил бы бердан. Горячий был дед, кипятной. Не разглядит настояще – и трах! За что и всел в свое время. Теперь не то, теперь и бердана нет, так, плещедушная хлястья одна, висит себе на ремне без прицепа и ничего на ней кроме крючья скривевшего нет, ею только что воробьев махать. Прицелился глазом Василий на гладь воды рассмотреть – а там клок, и вроде как то ли купырь, то ли шапка волос плывет, похоже что голова.

Задумался крепко – а если утоп да начнут тягать? Докажи потом, что ты его не со зла головой в водяной ручей окунул. Был не раз один случай, когда и такое было. Матвей вон, что около греблей живет, спас однократ одного, так до сих пор еще не выходил с ворот, куда упекло. Правда, если еще живой, а только что разве захлеб, пlying, так это еще чего, тогда еще можно спросить. Среди них, что утопники, богатые даже случаются, много потом за живот дают, можно хату поправить. И такой бывал случай – их бакалей полез паренька одна спасать, что с

пьяного глазу охолодеть внесло, а он золотым потом ему оказался, из маменьков, что опекаются больно своим государством, ну и, само собою, и коньяку ему напотом, и черной икры натямало-нанесло, и девку его в институт в том же годе принято. Нет, надо думать, прежде чем сильно влезть.

...Каюров был мокр и толст в натекшем водой пиджаке по своем вынутии. Тяжелые сапоги протекали струей и чвакавшей долго жижей. И также долго потом молчал, замокревший, набухший дремотной и подколодной в себе водой.

Просчитался Василий, не был Каюров из опекаемых маменьков, ни богатый какой, но хоть по крайности жив оказался, хоть и водою набрюх, и не приходилось бояться теперь ни разборов, ни объяснений в судах. Вместе выпили, фактически на Василия счет, огурцом загрызли. Посмотрели, попялились на себя, ничего не зная сказать, и разошлись-разминулись, как будто не виделись, промолчав. Как два пустых на льду воды корабля с якорями-палками наперевязь.

Несло насквозь, через пустую, покатую брюхом балку, по банкам гремущего мусора и сыпавшимся по нему черепьям. По скользавшему заду ее перед домами, стоявшими молчаливно-надуто натянутой серой спиной. По раскатанному до лысого пролежня языку подъема на месте моста, некогда бывшего и потом отлетевшего, с полонками горбыля перил.

Словно птичьи крылья вдруг придались и на них надо всем парилось бумажно-фанерной аэропланью.

Каюров не первый раз бежал по вытоптанному жнивью. В прошлом году два раза уже успевалось ему бежать. Один раз от Дорбидонтова-дурака, а другой раз от Люморера опять. Тогда еще воронье собралось по деревьям в округе кричать. И кричало. А потом как завидело его, по жнивью метущего, перебилось, смолкло. Насупилось в ожиданьи чего. Напачканные ими белым стволами акациевых на посиневшем осин выдавали гнезда, которые было б видать, задравшись, в подоблачной вышине. Каюров их не видал. Каюров бежал. Как теперь, по месту моста. Бежал, не видя, куда бежит, какой-то вуальной флёрью, занавешивавшей глаза, как будто взбитую в крем овцу впервые замуж на ленточной

поводушке венчать ведут, а та не то чтобы женихов, никогда мужчин до конца не видела, а женихи-то вот-вот, вот уже вот тут сейчас, вот уже за углом, и сожрут сейчас кудряво поспевшего к ним на глаза Каюрова. Хвать – и себе в багаж, и на машине прочь, и только хвостом кучерявится выпущенная из них на дорогу клубком мохнатая газная грязь, и визжит на этом хвосте и трепещется пойманный в лет на бегу Каюров.

И тогда бежал и теперь вот тоже сейчас бежит, на ходу курдючным трясясь грузном, которого было на что посмотреть в не обхощем еще и дуто-бокатым, автомобильном каком-то заду.

"А что", — мелькнуло вдруг в пыхавшей на ходу голове, — "что если бы насовсем унести тогда то, что пряталось под столом Дорбидонтова, когда не успелось тогда унести? Что бы тогда? И Люморев и вся эта пустоцвель?"

И хотя понималось, что ничего бы не удалось, желалось. Чтоб, может быть, для того, чтоб хоть что-нибудь. Потому что же невозможно вот так колобком, метущей вдаль перекатью местись и всё. По бездорожью и так. И потом еще что-то ждаты, каких-то дурных последствий чужих своеволий, кому-то кланяться, какому-то жухлому дереву у скрая стоявших полос, как по бумажной разбавленной камнями вдоль мелюзги. Не хотелось совсем. И всё скорее, скорее, однако, мелось в открытое настезь окно разметнувшегося по углам кособокого поля с кустьем оплывевших трав.

Навстречу выскочил грузовик, взгрохотав взубшевавшимся колокольцем. Мужик, в нем сидевший, ногой скрипанул, не остановясь, проскочил, прокурочив дырой своротившийся на сторону клуб подорожной пыли и пней, по бокам упавших. Каюров за ним задохнулся, закашлясь, как в воздухе повисая летящей стремглав на стропилах доской, не сомкнувшись, не сгнясь, как был, вроде чего-то прямого, какой-то выдудевшейся органной трубы, захлебнувшейся в грозно-басовом звуке, не в состоянии выставить его из себя на подставке приподнятого изнутри дутья.

Уже не бежалось скорее, уже же ловилось вслед, и грозные дни, поджидавшие впредь Каюрова, словно бы вот

наступили и мяли тяжелой пястью торжествовавших над ним подошв того Дорбидонтова, ошалевшего в песьей радости дурака. Хотя Люморев не проныривал, не показывался с ним в тени берез, и тот был совсем один, и рамка покачивавших ландшафт кустов богумильника давала увидеть отсутствие никлой тени, было дурно, а не легко без него, одиночество в рамке берез Дорбидонтова не радовало, видевшееся не облегчало никак настающего отупения, грузившегося теперь и все более тяжелым угрюмым сном. Отвалясь как тяжелый пласт, оставленный по себе проехавшим грузовиком, как отработанная в грунт порода, как свал, Каюров кихал и кашлял беззвучно, словно плюя на всё, словно бы не желая ото всего отставать, оставаясь собой с другими, на фоне таких же плюющих и кихающих других, таких, как Солодухин и Люморев, или же Портомоев, и этот невидимый миру бунт, эти слепые слезы немого, не высказанного восторга вдруг подняли его над собой и внесли. Совсем без тормозов, как без калош и зонтика в поднимающуюся вьюгу-метель, летел Каюров, и так он еще никогда не летел. Что значит вовремя окунуться и потом снова вылезти вновь нарощенным!

Жуткий амен

“— И что теперь? — хлопнул по столу Солодухин, озлясь. — Кому что когда говорилось, чем слушалось? Каким мозгом?”

Солодухин умел бывать груб. Внутренне ничего не кипело, даже не просвечивало на матово-белом, кремовом, кругло-покатом яйце, а на поверхности раздавались тяжелые ноты, ходя косматой вздуваемой с ветру волной, нагнетаемой пущей нерадостью.

“— Надо же было его пустить!”

“— Ну погоди еще, с кем еще не случается, еще впоймаем, еще образуется, еще приведем, — охотно откликнулся неунывающий Люморев никогда, кидая на стол ключи заблудившей и ставшей на парк машины, доставшейся с доверенностью от солодухинской тещи, вольвешной, не

выпасенной толком козы о двух кудрявых рогах обитого в пух руля.

“— Наворочено было, скажу тебе, как свернули с дороги в кусты, а там как прыснули зайцем и вовсе совсем не те, какие-то даже совсем другие, те, что ждали себе наравне со мной, и на ж тебе, всё не то, нескладуха-хрен, я кричу повернуть, а водила не едет, застрял, не крутнет, пришлось за бампер на стропиле тянуть через долбанов трактор, а тут тебе и мотокар, и всё такое, и дрянь всякая скачет козлом навстречу, и вся автострада кем только не заполнена, все тебе в дышло прут, фонарем по глазам мельтешат, как не видно бы было, и как средь бела дня полыхает кругом, какого тут сморкача ловить.

По окну полз тяжелый большой жукатый пугач, по самой кроме, примериваясь к торчавшей пупырышке на стекле, желая, по видимости, сглотнуть. Она поддрогивала, боясь за себя, боясь пропасть под ползавой плешью. Люморев смотрел и не видел жукатого, мечтая о виденном на представшем пути, проигрывая в склонившейся голове не бывавшие варианты. Солодухин молчал тяжело, не веря, не желая, однако же, связываться, опасаясь на будущее за тещин мотор, вдруг разобьет со зла.

“— И чего тебе вдруг взбрело, чего тебе так запало? Нет бы свое дождать? Глянь, вон, погода кака, прямо крути-верти, а мы тут как в конопли сидим. Лови – не лови, всё равно уйдет, коли так ему суждено, а потом сам же к нам и придет защиту просить.

“— Не придет. Умрет, не придет. Упряма как осел. Я ведь с отцом его за одной партой сидел, и он мне всегда на моей половине чернилом грязнил – нальет, и размажет, а потом грязной тряпкой, чернилом мазанной, пол подо мной натрет, чтоб не повадно было что про него другого и думать. Я таких вот как пить дать не терплю, они мне всю жизнь поперек переехали, я бы их собственными руками в постели душил, так не дают, по ночам только снится придут, и сидят, и глаза на тебя тарашат, и волками в душу смотрят.

“— Э-э, да ты только так говоришь, ничего они сделать не могут, а что сон если вдруг поганый, так ты наплюй. Что отец?

отец был и нету, мне вон и не такая дрянь по ночам на глаза является, сосед вон в окно каждую ночь глядит, станиной его под окном моим перебило, и ничего, так то тебе не во сне, а как есть наяву по правде. А я с тем соседом не водку пил, и не за партой сидел, вместе пятнадцать лет проработали, как братья были. Да что говорить. Колька, вон, расскажи, Колянь, сколь мы дней вместе с ним провели, и не счесть теперь, где они, эти дни? И когда Клавку его увозили рожать, кто с ним оставаться сидел? Кто, скажи?

“— И что это ты всё врешь, Матвей? Когда это Клавку кто увозил рожать, эту дуру?”

“— Да? А как эту бабу соседскую звали, что двух тогда в один раз родила? У них и пожар еще был потом, всё сгорело? Я ж потом и с детьми сидел, пока всё вокруг носилось?”

“— Не припомню, чтоб баба какая была, ты, Матвей, уже как-нибудь сам выезжай из того, как заехал, Солодухину уже невтерпех твои бредни в мозгу держать, я только знаю, что твой сосед по пьяни на парапете одной ногой стоял, пока его дамочка одевалась, а потом они вместе к тебе и сошли, она под дверь, а он под окно, она сход`ами, по лесенке, то и сё, а он по стропилу, а никакой станины в помине не было, баня у них была, сауна там наверху, подушились в чаду да угаре, ну и вот потому.”

“— Ты что, Колянь, ты совсем забыл, то не с той и не так случилось, ты только послушай как: бабуленька то была, ее заперли, уходя, ну у ней и подвинулось там в голове кое-что, и вышла, да только дверь и окно попутала.”

“— Да причем тут то, ты совсем, Матвей, не в себе, ты только подумай, что говоришь, какая тебе бабуленька, дверь-окно, у меня даже голосу не хватает с тобой говорить, та бабуленька, что ты говоришь, совсем даже не с тобой живет, дом ее пять домов от угла, там еще кирпичи ручьем и трещина впоперек, голова у тебя прямо жбан, садовая голова...”

По окну опять поползала муха, следя невидимо лапами по стеклу. Бокатые пузыристые глаза ее впляливались фасетами фонарей, просверливая кучерястым дымавым лучом разгоравшихся поутру, согбленных расстроено над шуршавым

столом, по которому дымом таким же клубился невидимый мира свет, фотоны лепястых уродливых разбобучин, встававшие, вспенивавшие, клубившиеся у махов вскрыл распещратых ладоней рук, у прыгавших глаз ресниц, у а`урных их, ореольных раздужий. Муха жвалами шевелила во рту, заглотав слюну, словно бы уже прожевав про себя и сказавшего и не сказавшего, словно бы дни пусты отошли уже и пропали в полях ништы, словно бы некому не с кем и не о чем было уже говорить – проговорено, сжевано и забыто, словно бы парусом крутобоких баркатых багрово-румяных теней пронеслось над огнем и, распыхавшись, разбито – страданий крушения леп мечты и сразу всё с ними бывшее и не бывшее.

Солодухин устало смяк, положив звонившую голову на покрай стола. Руками в пальцах перебирал пробегавший вздох, как будто воду в ручье водяной толок, в зелено-косматой густой бороде-лазури.

“— Мне бы Каюрова привести-достать, — мечтательно пробубнил про себя под нос, и нос зазвонил, отдаваясь в вздвигавшихся кремowych параллельно рояльных золовых ожерельнях.

“— Нету пока Каюрова, Каюрова же покамест что нету, — квакнула из углов плоскатая вредная брень, брезга невозможного противления, когда не можетя кажущееся желаемым и желаемо близкое недосязжимо. За углом стоят кривленные корявые плоскостопы и не дают, не пускают пройти ничему хотимому.

“— А я вот хочу, — головой почти бьет Солодухин в пустую дыру невозможности пред собой и не может попасть, как не попадают, без строимого намерения, в ненаводимую цель. Следить – следят, а не попадают.

“— Отец его вздумал мне подбородок чернилом мазать, а я вот его где его буду иметь. И – эть!.. – и он свел кулак, в кулаке зажав и Каюрова с его мазавшим подбородок отцом и прошлое, с которым пришлось расставаться.

Окно за ним занавесилось черной луной, и лицо чубатого заглянуло внутрь.

“— А что? — наклонившись, спросила луна — Что у нас тут без нас происходит хорошего?

Оторопелый вид. Распатланные очки. Глаза, повылазившие из орбит, подслеповато шарившие в своей непроглядываемой темноте. Солодухин не видит, сидит спиной. Люморев видит всё.

“— Кого это черт принес? — громко спросил Колень.

“— А что? — опять говорит голова и машет чубатым хвостом под чужим окошком, никого не стеснясь и в полную свою забубенную дурномочь.

Окно маячит, рябит, пластается не пуская в себя, но и не выпуская. Тени скачут, прыгают, пущенные кружком, что-то им хочется словно сказать, помимо уж сказанного. И нету ни сил, ни желания что-либо делать сверх.

“— Невозможно так жить! — говорит напряженно Люморев, подбирая ноги подальше от посетившегося окна, — Только что было светло, и на тебе, свет погас. Кто бы мог подумать такое раньше, дела меняются и меняются времена. Ты, Колень, закрой ему, что ли, его корявую морду, смотреть тяжело.

Солодухин заинтересованно поворотился было, но ничего не увидел за твердой Коленья спиной. Тот стоял к окну и водил перед собой широко руками, пещря по воздуху дивно-странные, тертые струи чужой судьбы, локтями пахтанные чуть выше шеи и плеч, цепляемые, разводимые. Будто плывью моторной лодки, пускавшей из-под себя волну, в кусты летело, за камыши, в тяжеловато-мутнявую дурноту, за плевелые, плотные и стоячие вдоль обмоины, гвоздями прицепленные к не забиваемому дну. Вода была словно отдельно, отдельно ходивший воздух и камыши.

“— Что это ты на бобах разводишь? Кто тебя научил такой ерунде? Отойди от окна, ничего не вижу.

“— Это не он его заслонил, это мырлявая морда в окне. Склабилась тут и кривлялась. Он только ее отгоняет так.

Высунувшееся в промойную череватую глыбь лицо умильнулось и, выдвинув поперек голубовато-чернявый язык, сверху донизу облизалось, показав неожиданное нутро.

Неприятно было смотреть, тошнотно, не так даже от случившейся всем на глаза неожиданности, как от того, что такое возможно, что так вот могут прийти, заглянуть и, ухмыльнувшись, всунуть покошенное лицо, каким-то похабьем тронутое наперекось, а сидящие внутрь должны всё сносить и в своей перебитой приватности делать красивый вид, что ничего не случилось, что всё обыденно, просто и не о чем говорить.

Не то, однако, Колень, всегда не приемлющий то, что не по нутру, не думая даже о вероятных последствиях поспешающих решений, приходящих в мгновенную голову наотмашь. Потом бы жалеть, и тревожиться, и переживать, что будет, в неисправленном перекопанном мире, но никогда не жалеет, не отдавая себе отчет. Как тогда в той истории с Люморевым, когда вдвоем переехали полем, скосив с пути на доверенном автомобиле, а ночь была только звездная без луны и болтало, и било грязью, а пиликавшее по обочинам непонятно какое живьё могло откинуть любую с колесами штуку. Но обошлось.

И обошлось бы сейчас. Если бы Солодухин на заорал, замахав руками, не дав разбить подвернувшееся Коленю окно, желавшего заслонить нарушенную приватность захрястом рамы.

“— Куды? – перешел он, волнуясь, на диалект, вспомнив детство, — Отойди сейчас.

В ночи ударилось что-то снаружи, как будто прячась и исчезая, и заходя за куст зигзагом мигнувшей тени. Просверкли искры взметавшегося дождя, распустив снопом удивленно вспыхнувшие отверстия выбитых дыр на месте сплошных до того куртин, и всколебалось, пошло кружить неведомое, густое пред тем постоянство.

Никто не почувствовал в полной мере тогда, не ощутил происшедшего, не сразу приходит познание неотвратимости, потому что не думают, не догадываются находящиеся в некоем месте, что всё не так уже в видимом ими вне, что то, что случилось, не повернуть, не признаются себе, потому что не видят, когда же собственно произошел переход, границы сменяемости не впечатлимы, не отпечатываются на груди бредущих и те, оставившись в некоем далеке, не возбуждаются к

новому состоянию, словно замерши в студне не движущейся воды.

Ночь без стука

Открылось. В распахнутое окно просунулась тонкая в бисерах света рука и запнулась за раму. Пальцы показывали половину восьмого и были светло-прозрачны в просвет. Листком шевелилась у вздрогивавшего запястья мигатая тень и, не решаясь скользнуть в протал длинной западины горбка, заигрывавшая словно, плескалась.

Не было бы ничего, кто бы что сказал? А так. Что-то б надо бы предпринять.

Собаки ходили где-то по скраю видимых перемык, словно бы выть намерясь. Было тихо и горестно. И невестилось. Казалось, во всяком случае.

Кто ж приходил?

Медленно шли бестревожные линии памятливых глаз. В Мише всё ворошилось, он был тяжёл временами в своих непоседливых поисках, но, будучи в них, не знал, и не предугадывал даже, о чём говорили с Филипповым проходящие.

А между тем приходили, о чем-то шептались громко, так что со свистом летящего из щели сквозняка метались и шли по комнате неповоротливые раздумья чужих беспокойств и встревожий.

Филиппов не верил. Точнее сказать, делал вид, что не верил, хотя где-то внутри, глубоко, как спущенный конь с узды, скакал и трепался в нем залиvistым лаем ветер, которого б не спускать, которого сеяньем выпускают пагубу на простор, с горы, как лавиной, летящей и зачинающейся незаметно, а потом, порастуши, губя на своем пути, что было, что не было, что становилось быть. Потому что, если уж взялось, то не оступится, не отойдет... Потому что в тревожной сини наброшенных на краях полосканий трав нет ничего пронзительного... Потому что оно шевелится, но не рождается, не являет себя, не хочет себя появлять в преждевременьи оплетавшего ветер ноги дождя, не

дождя, а туманной неясени без коричневых прясел в ней вопрошающей не оформленной дури, как если бы было что и это же что как бы не было. Никогда и ни в ком, а тем более не говоря о нем, о прослушивающем чужое в себе Филиппове через подставленное к виску лицо.

Миша не знал, не хотел того знать.

Ему хорошо было на кочующих вдоль железной дороги горбах бегущих откосом стаях пригнувшихся броненосцев. Словно древнее что проступило в них, как проступает влагой воды исходящий кудрями лоб... Как дамбы встают на дыбы и ключатся к не застревающей впереди воде. Как застывают в картину взбурлившиеся речные валы, не успевшие вырасти в грозные спины прилива, намечающие, предощущающие, дозревающие в себе, зёрна не состоящегося уничтожения, которому далеко до дня, но в котором день этот есть, как в обозначившемся к движению семени знаки роста...

Гибкий стан прогнувшего спину моста напоминал о не состоявшемся объяснении. О том, что Филиппов носил, хотел, собирался сказать, но не сказал ни разу, умыкаясь в свой недосуг, в свои вечные парусиново-клинистые распорки, на которых строилось здание Филипповой видимости создаваемых событий перед собой. Приходы, отходы, сидения возле, слушанья гомонливых и монотонных древесных утяжелений...

События вились, как нитки на шпульку, жужжащими пальцами не замечаемых в них активистов... Кто они были? Специально заинтересованные лицом? Или так, по себе пришедшие? Каким-нибудь самотёком? Как вдруг берутся как будто бы ниоткуда те, которые потом выдают себя за агентов чего-то там? А может, совсем даже и не выдают, а и есть, теми, на самом деле, за кого хотят думать, чтоб их принимали как себя за то выдающих?

Сложный то был вопрос. Очень сложный. Тревожно-юный, неопытный Миша, в своём порыве к не явствующим ему перспективам, не мог бы его развязать. Как не развяжет нагнувшийся к камню запутавшийся у него у ноги шнурок, затянувшийся, затрепавшийся, заскорузший, набившийся

бахромой растрепавшихся в нем репьев, будто во взбитой начёсом собачьей шерсти, занятый не шнурком, а тревожной своей, огнедышащей думой... Так вечное неразрешение одного неизбежно влечет с собой неразрешение другого, и узлы затягиваются еще прочнее, еще бахромистее и рванее, еще тяжелее становится вид их и безнадежнее состояние когда-нибудь вероятной возможности их развязать. На горизонте вдруг появляются новые раздвижения, арки моста встают, разбегая по мраморно впечатленному небу какие-то проблески вспыхов и полошений, что-то миражно-каёмное валится потолочным навесом мигающих полугардинных лилий, что-то хочет хватиться в том нехватаемом нутри и не хватает, потому что не может и потому что некому встать за ним, чтоб схватить, на дыбы в медно-бронзовом передрогнувшем своем полувскоке, как в летяще-ягнячем пчелином восторге порхучей лани летит вместе с брошенным дуто-резиновым мигом вослед какой-нибудь вытянутый, лучной дугой изогнувшийся, длиннотелый болид в умыкнувший себя в кольцо и желанный ему боскет.

Что было думать Мише после всего того? И о чем было думать?

Ни о чем не думалось.

Филиппов выпил уже свое. Свою подвернувшуюся под руки чашу. Точнее подsunутую заботливую рукой... И всё миновалось. Прошло. Переменилось на не бывавшее, но более верное, потому как выпитое, сказавшееся, нашептанное и принятое в себя...

Так всегда бывало. Филиппов лениво в себя принимал к нему снисходившие откровения дуновений сверху стремившегося солнечного дождя и воздушных парений, магических струй сияния суеты, никогда его, впрочем, не волновавшей, и беспокоившей, переплетавшейся в нем с каким-то чешуйчатой-рыбьим подрагиванием разноцветно-огнистых капелек крупитчато-нижущегося внутри него серебра, походившего на блестящую, в круглых пятнах, плотную гладь подноса. И не возражал. Не возражал и не выражал ни в себе, ни вокруг никакого заметного недовольства, сопротивлений, борьбы,

бунтования... Можно было бы напереть на *заметного* в этом ряду и подумать, что было же что-нибудь за его пределом, что не учитывалось и видимостью не покрывалось... что бы могло составить хотя бы намек на какое-нибудь в нем, на его подносе, смущение... Но нет, никакого *заметного* бунтования не было, потому что не было попросту никакого... В Филиппове росло, несомненно, что-то, под дуновением указанных перед тем минут, но это возросшее шло на пользу его возраставшему, и никогда не во вред, никогда не в противность ему...

Мише учиться бы и учиться такому умению Филиппова...

Нельзя, конечно, сказать, что бунтарь и смутьян этот Миша, ни в коем разе, напротив, он покладист и смирен, даже больше, может быть, чем Филиппов в скептическом полуехидстве своем и в видимости допущения и признания противоположного с допущением и признанием одновременно другого. Но в этом его подкладстве, в этой его готовности, Миши, всё принять, согласиться с невыгодой обстоятельств и ущемлений, проскальзывала какая-то сквернь, какой-то грозный и зреющий просвист переворота, какой-то воронкой ходящий туман, от которого плохо ждать чего доброго или рассчитывать на позитив.

И не рассчитывал Миша. Сам не рассчитывал, ибо знал, что то, что дано Филиппову, что есть у того, ему не дано, и нет никаких оснований к тому стремиться в тяжёлом сомнении бы получить. Повсходившие шептуны, попривстав в стременах своих уд, понасеяли в полураскрытые раковины Филипповых вздохов и сожалений волнующегося неприятия, в себе, внутри, как котёнок свернувшийся бурндуком, но заметного в этой своей поневоле...

Ай, какой милый тяжелый рассвет, вдруг пришел, подвернувшись под скорбную руку, все державшую еще свою свитую раму в свете пришедшей порозовевшей ноги зари! Какая немолчная скрытая суета встрепеталась, не слышимая никем! Какие, забегав, забеспокоились тени, никогда перед тем не виденные никем. А вот Миша, повыснунувшись и лоя открывавшимся ртом залетавших мух щебетливого воздуха,

залетавших в подреберное пространство, удивился, открыв для себя и тени, и их гомонливый, не слышимый хробот и хрост.

Он помнил гримасное детство над тинившимся прудом. Никто не ходил к нему, даже старые дряхлые рыбы, повыжившие из ума, не выплескивались ему как раньше его отцу, приходя к нему и раскрывая беззубые рты и чуть ли нагишами даваясь в руки, мять и тискать их около жабр. Не цвела охромевшая в своем громном страхе черешня, расщепленная надвое тяжеленными ветвями, не дававшими ей покоя самой и ее плодящую материнскую жилу собой в один несчастливый день защебив. Не рубилось ее, жалелось, а вдруг – подыметя в ней, повстанет ниоткуда берущаяся воздремавшая сила, муромскою неистребимой упрямостью только одной и жива. Такожде обле обе на лбе повставали рога-рогатины у мырчавого ныцаря, повскакующего в тѣблом стрѣме своем на коне конявском, на поле лямском – повставали, чтобы затем и опасть, придавив по плечам, торчавым в широкую скособочь, себя его самого, возмутившегося, взбудоражившегося случившимся, но не могущим, не умеющим сшедшее повскромить, овладев происшедшим.

Потому и так было потом завсегда. Миша тямился талым тридцатилетним параличом, в нем вздремавшим, укутавшимся, отобравшим силу, и полуягниим-полуоленым сучьем пробирался по багнам возраставшей почвы, гонобобелем вившись, худым кленьем, викой, вскидывавшейся на подставляемые плети плетня, какого-нибудь Филиппова, Солодухина или еще дурного кого, не надеясь, не прикладаясь себе достать часть хотя бы уснувшей опалой рогатой силы, не его к тому же совсем, а гнилого того пруда с побезмозглыми осовелыми рыбами.

Тяжела была месть уставшего, отпечатавшегося на нем, голомятного боровика, на отца его еще наскочившего, но на нем и почившего, на весь мир обозлясь, на крутую его передержанную ховырью дугу, не посвязывавшую приключившееся и усилившееся при нем двоемирие. Как еще Миши хватило на то, чтоб вообще взойти?

Ляпались тени в разбрызгивавшемся свете, сидели внутри лузгой и оконной замазкой. Приходило что-то сплошное на ум, что-то такое, чему не давалось определений и слов. Миша сидел в подоконнике, отдыхая от неотложных филипповых дел, болтая ногой, хихикая, посмеиваясь внутри себя, может быть, что и над собой, не свойственно ему было зазнайство.

Если бы все, кто были и намеревались пройти вокруг, воспрянув вдруг, в этот миг на него посмотрели, они бы увидели нежно отолевающее само в себе, опадающее пространство ищущего проснуться дневного сна, биение сердца в свой рот раскрывающей теплой, открытой, рубашной, не защищенной груди, в лёгко кружавистом, воздушно-поярковом опушении проросших, мягких еще волос – птенца какой-нибудь подоконной ластки, улетевшей в свой мошкаринный полет, беспомощно, но настоятельно уже открывающего свой беззубо уклончивый треугольный рот, желавшего хапнуть, глотнуть, заесть, но не зная и даже не подозревая еще кого, ни откуда, ни где, ни как добывается это идущее в открываемый попросту рот, ни кому это следует или прилично, пристало, привычно делать, поэтому и доверяющегося тому, кто к нему по утрам и потом по все дни прилетает, и кормит, и поит, и кричит, и от себя потом и дает, вроде бы ничего и не требуя в добровольный замен, но как-то само собой, незаметно потом, то даваемое и вдвойне и втройне возвращающему.

Ай было да потому под тяжелой, напёстывавшейся и собою поигрывающей Мишиной пятипалой рукой, ухоптавшись и угобзовшись со собой по краю!.. Но очевидное веселие здесь не живет, здесь только кажется приходящая мыть, а так всё коряво и скотно...

Царевна Лебедь

Если бы да приоткрыть простыню, чтобы посмотреть в нее, кто лежит... Если бы, тихо подкрадшись, на цыпочках подойти за подкров... Если бы отодвинуть хоть скрай

намотавшего, на голову спавшего с головы до пят повскрывала – материйной увязи нитей, друг в друге уплѣвших, упрятавшихся, как пальцы переходившихся, пересажавшихся один за другой... Если бы приподнять, любопытствуя, то да лежащее, пластом наславшееся на телесный опавший в отдохновении слою чурбант... В отдохновении ли? А может, в разброде? А может, даже в ополовении? Иль, осоловея, да отлетев? Душа никогда не ведает, что палое тело творит и что оно, мяклое, хочет!..

Пальцы не разожмут, находясь никак, перед нѣм, один на пуфе, на табурете другой, делясь минутами в общем стечении проходящего дня. Сидят, бесом чикают, чавкают, подминая в себя по обычаю чьи-то счѣты и расставания, надежды, замыслы, смыки и мни. И ничего кругом них не происходит, и не заглядывают они в ожидающем отупении за окром. Знают то ли, не знают то ли и знать не хотят? То ли в открывшемся опущении всё им давно вестимо проведомо, и почто им что узнавать? Лежит перед ними женщина или лежит мужчина, старуха, юноша, а может быть, переросшее возраст и рост дитя? А может, семя, ещё не раскрывшееся, не пущенное в свой тугой и тяжѣлый росток? Им наплевать, всё равно им, им ничего не потребно...

Злопыхательством веет прятаямый в недрах губатых зыбей оскал. Тяжело сидеть рядом с ними, невыносимо даже просто рядом с такими быть. Словно лицо, тебе улыбавшееся, вдруг западает солнцем и вместо смази разимых умилых черт высовывается какое-то углое, дулое, тылящееся ничто, лоя тебя из безмолвно хихикающей, издевательской дряби.

Филиппов отъявленно ждал, выжимая минуты, как омокревшую тряпку и мажа платком отупевше одревесневший лоб, а рядом его сидящий поахивал и побухивал тѣплым проспевшим умением говоря молчать...

Лежавшее перед ними тело было гибким, встревоженно-трепетным, каким-то улѣтным. Словно начав ожидавшийся к концу лета и потому ежегодный отлѣт свой, но на лету и раздумавшись, мечтательно разбросавшись в медовом сне, распихавшись крылатыми в одеяле руками и грациозно-волнительными, рыбьим хвостом по безбрежью свивающимися,

ногами – в лёгкой, тревожимой на невидном, не осязаемом ветру голубой простыне.

Самое интересное было в том, что лежавший так не был Миша. Это был кто-то другой, совсем перед тем незнакомый... А может, знакомая? Кто ж это знал, не видя, не заглянув с любопытством под простыню?

Лёгкий прибрежный туман насупило, насадив, надвинув по самые уши сидящим, уже покрасневшие от напряжённого ждania отлетевшего в небыль сна. Боявшимся пробуднуть, провякнуть какую-нибудь в своем появлении несусветь, способную придавить едва уловимое мление происходящего...

“— Знаешь, что думаю? — многозначительно начал один, подсобравшись, — Надо бы Итиверова пригласить, ты как? Итиверов всё понимает.

“— Что он там понимает? Сиди уж на пуфе своём...

И начавшееся им, придавленное задом, сидение продолжалось, в таком же неспешном, провиснутом ждании, а вдруг чего, когда ничего.

Тело сводилось и разводилось, плыло и стлалось в своем непреходящем, не примыкающем, не дающемся ухватить отсутствии, как длинный, растянутый облаком по небу дирижабль... Вокруг происходили, если б заметить, дивные вещи. Плыла крутобоко невидимая луна, заходили за край глухие заборы крыш и еще что-то было, чему не прибрать названия...

Откуда всё, если вчера оно не пришло, когда ожидали и требовали присутствия, и вот теперь лежит, нога за ногу, в безмятежном сне? Где искать его обретения, среди каких долин? А ведь Солодухин и Петимеров сердит (кто бы знал, кто такой Петимеров?), и сидящий Филиппов нельзя сказать, чтобы очень доволен в своем напрягающем ожидании.

Что-то надо было узнать, что-то следовало бы протянуть из лежащего, а оно себе спит, в разомлении разметавшееся и не ведающее ничего! Ни что пришли и сидят, ни что ожидают, и ни что даже хотят от него узнать! Уже даже теряется нить узнавания, Филиппов сердито трет обопревший в сидении лоб и теряет, не может поймать ее, с каждым разом, с каждым тупым

провисанием, всё более уходящую, всё умыкующую дальше, в какое-то свое обомшелое подсудно... Что, бишь, хотел сказать? Ради чего пришел и сидит? И время теряет, свое драгоценное, никому не даваемое время?! Это нельзя понять.

Каждый интеллектуализирующий себя индивид всегда что-то знает такое, что знают и все, но о чем не догадываются, поскольку не знают, не могут, не понимают, не полагают, как его, это умыкующее знамя, достичь. Поэтому даже самые изощренные, умные что ни на есть и собаку съевшие, много мящие и важно-значительные о себе, весомые своим тѣлым весом, обречены приходиться и сидеть и смотреть, себе ожидая, что же им неизбежно и обязательно хляпнут в их простодушно доверчивое вслухивающееся нутро, просто должны сказать, иначе зачем они тут сидят, для чего пришли, припадая ушами землю, прослушивая в ней проклевывающуюся невидимую траву?

Также бы и вы поступили. Также поступили и эти двое, прийдя сидеть и сидя теперь в своем подневольном, не подозреваемом обурении – предвиди, предмычи и перемочи, а вдруг да покажется им, улыбнется из-под подкрова неведомое, из-под повздыбившейся к утру шатром простыни – то ли колено углом поставилось, то ли само еще что... Филиппов отворотился, не могши на это глазами пялиться и нагло-прямо смотреть, — упорно зарится не к лицу пристало, стыдясь известных ночных причин, — каждому бы да будет дано блюсти по ночам, хоть и утро уже навестившего дня, его собственную приватность, не покушаясь, не вваливаясь на него со скусившей чужой стороны! Филиппов свято блюл этот эгоцентрично-демократичный завет, заповедь развернувшейся на тысячелетних выстрадавших глазах оевропейной цивилизации, сам быв прозападным, понахватавшимся вольнодумных мечтаний и ценностей ориентиром...

“— И что теперь, как оно тут лежит?.. — сказал запнувшийся на полслове омотовевший сидюк... — Что теперь? — продолжал он, далее не уточняя, — А ведь придѣт-таки Итиверов, как пить дать придет, и что скажет, как это увидит? Что

мы скажем, сидящие и наблюдающие только себе тихо-молча и даже не могущие, этак-то по-мужски, взять и потрясть его, чтоб...

— Чтоб что? Что будет, собственно, если мы потрясем? Думаешь, скажется что-нибудь, чего этот твой Итиверов хреновый не знает? Да он сам тебе наперед наплетет такого, что и не вкидать, чего он не знает твой Итиверов, что откуда берется не знает? Хрен там, всё такое он знает!..

Частое припоминание хрена свидетельствовало о высокой, если не крайней, степени раздражения у Филиппова. Обычно, как правило, он так не говорил, легко и податливо взвешивая подскакивающие шариками слова и расставляя их в строго арифметичном порядке. Не то теперь. Теперь разливалась по телу и в голове какая-то размутненная чужь, расставались линейки со своими сцепляемыми с ними связями, как крики кидаемых в воду поплавать детей, в хаотическом напирании и тянущем душу захвате, расплескиваясь при своем утопающем опускании в поглощавшую глубину и выдобываясь потом на поверхность отфыркивающимся, мокрым, неразличимым комком...

Сидели снова. Полог пошевелинулся, выпустив обомлевшую тонкую руку из-под себя, в заблеставших перстнями каплях упавших на нее тут же дрожаний пробившегося сквозь шторы луча, как скакнувших и неуверенно встрепетавшихся, всколебнувшихся, взволновавшихся зайцев, случайно сюда не к себе прискакавших, привернувшихся, примотавших, попавших сюда и оказавшихся здесь ненароком, заблудившихся невзначай, как в лесу повисевших сорно-корявых распущенных трав дремотного, полотняного, не пропускающего в себя сожаления.

— И кто бы мог только подумать, что можно так спать? А ты Филиппов сколько часов в день спишь? Восемь часов, не больше? Десять часов – это тоже много... Мне иногда приходится столько спать, когда ухахаюсь и глаз не смогу продрать, но чтобы столько! Это, по-моему, уже слишком! Зачем этот долбаный Туберозов ему позволяет столько лежать в постели и дрыхнуть, как сыр?..

Сравнение с сыром пришло ему как-то само собой, как-то само собой напросилось и соскочило. "Что он имел в виду?" —

мелькнуло тут же в голове у чуткого на сравнения Филиппова. "Или что зреет и долго в отвале лежит, как сыр, в своем оставленном, созревающим к своему, пробалтывающемуся ожидаемыми от него вестями, концу? Или что крепко, как мертвый, спит? Известен ведь этот сырный и прелый запах спящего, потеющего своей покрывающей бисеринами испариной, в своем длящемся, не пробуждаемом, долго не прекращающемся, не прерываемом и не прорываемом сне. Или что он уже мертв и лежит, разложился как сыр, а мы тут сидим и нюхаем, втягиваем, не подозревая, сгнилизну, и ничего, как последние дурни, не чувствуем, в осоловлении, не допускающем вдруг приходящей по камушкам тихо смерти, скрадывающей неслышимо свои раздражающие живое ухо и мысль шаги?"

Стало не по себе. Филиппов приподнялся, оторвавшись прилипшим к сидению задом, неприятно в себе ощутив не выпавшую, как полагалось при каждом вставании, заднюю половину штанин. Коснулся, приподнявшись и суетливо сзади себя оправив, представляя одновременно открывшийся обозрению свой задний, задравшийся, не подготовленный к этому лицемерию, вид, — коснулся, дотронувшись показавшейся на мгновение охолодевшей, распаренно разомлевшей, порозовевшей, невинно незащищенной, словно просившей сочувствия и понимания, упавшей подрубленным стеблем, тяжело-легкой и тонкой до непривычи и неприязни руки.

Коснулся и ощутил биение булькнувшей жилки, трепетнувшей под онемело корявым, своей неумелой, деблою и не привычной подушкой, пальцем, — трепетание резвой лани на уплывающем у нее из-под ног лугу, дрожание мелкокрапчатого ягненка, пихающегося под материнское лоно-живот сосать, стрегущие в косом своем сожалении-развороте из-под кустистых навесов беседки глаза, и всякое прочее, что создает в своем зыбчивом ощущении впечатление настойчивого биения свежего бодрого бойкого пульса, стремящего свой, по своим стадионным, бравурным, посыпанным мелким гравием-щебнем и чистым, метеным дорожкам, свой утренний, мелкой трусцой совершаемый, торжествующий, оздоровительно-ежедневный,

приподнято-расторопный в своем отлете, веселый, весенний, искренне непрерывистый бег.

"Эх, вот дурак, чего такого подумал! Придет же в голову всякая муть! Смутит какой-нибудь недокрученный, малoverный Фома, а ты как дурак над прудом в своем раскоряченно скособоченном расторопе, всё тут же бегущий и проверять, не утоп ли кто, по его недоумному предположению!" — и Филиппов, озлясь на себя, совсем сердито теперь, сел на свое прежнее, бывшее под ним перед этим место.

Так же и не открылось скрывавшееся. И кто то был, и кто его вест? Никто б не сказал, замаявшись за свой посмокавший по всей округе кутюр. Приплывала, слышано только было, по берегу взморья искраваая солнце-лунная дева, Царевна Лебедь, все, говорят видали ее, но никто ее не слышал!..

В тишине воды

Буркнуло, брякнуло о воду и опять исчезло, не показавшись даже, не промигнув.

Миша сидел, нагнувшись и ухажёрно, в ожидании прибывания, надвигания лоскочущих ухо женских, на шпилях, мотавых привычно шагов.

Обычно он не встречался так — за оградой, за городом, далеко от дороги и в пустоте. Но тут пришлось, иначе она не хотела. Лопотавшие тихоструи воды что-то шептали неслышно, какую-то свою балладно-уподнятую, крутоярую ерунду, какой-то простонародный, незамысловатый в своей очевидности, мотив, от которого, если б прислушаться и понять, становилось бы дурно, засосав сразу вдруг под ложечкой, под желудочной где-нибудь железой... Но Миша не слышал, к его осетившему оловению, задумчиво-мягко светившийся протекавшей у сложенных ступней водой.

Маша была хороша, не чета Зине с Кирой. Маша была легка, как брошенное с высунутого балкона перо, надвинутого своим козырьком над кудрявой и пыльной дорогой, мягко

осаживающееся на подставляемый под него карниз. В тапочках на босу ногу... И вот теперь, на ожидавшихся твердых высоких качавшихся шпильках...

Шпили эти ей подарил когда-то бывший до Миши еще ухажер. И она в них теперь ожидалась. Вся нежная, вся раскрывшаяся, как проклонувший к тихому солнцу цветобутоном... Она еще не была с мужчиной, так чтобы толком, и Миша, казалось, что это знал. Поэтому он готовился к встрече тщательно, как к большому и важному испытанию, как к экзамену на поступление или же на какой-нибудь аттестат.

Открывались дни, еще не развесившись, не заморочившись, как следует даже себя и не определив. Но что-то упорно и неотвязно толкало его думать хорошее, словно из прорынувшего сна. Вот Маша идет по камням, поджимая щиколотки, как какой-нибудь портящийся от замочившей воды снаряд. Вот они вместе, стоят под березами, накрываясь ветками, будто бы осыпающим их дождем, и сережки, и сыплющиеся из сережек пушинки тоненьких всюду игл порошок им глаза, и румяные щеки, и скрытый в серебряных капнувших листьях лоб.

Вот они в поле, и поле колышется тенями наступившего дня, но не жарко, и только продольные полосы падающих с далекого верха лучей протягиваются обоями, ложась им на спины, как плотные поперечины пораспахнутых ставнями к вставшему утру рам. Вот надвигается теплый бриз и шевелит и поднимает и подол желтых стеблей у трав, и гривы закинувшихся где-то в дремоте, прибравших и сбоку осевших кустов, и тонкие линии неразличимых границ проведенной строки посева, и платье, конечно же, тут же стоящей Маши, на самом видном вдали виду, можно сказать на бугре, хотя нет никакого бугра, просто как самое важное и достойно-значимое на картине пятно нарисованного пространства, по которому провели и на нем оставили кистью тяжелый и плотный мазок наведенного масла – в место, представившееся нарисовавшему наиболее подходящим и обещающим для осуществления навесившего его замысла.

Маша действительно была хороша. Кто бы мог про нее что сказать плохого? Миша мог бы тому нечестивому

злопахателю наплевать в глаза, несмотря на свою нерешительность. Мише теперь приходилось переживать никогда с ним не бывшее перед тем ощущение дававшейся, самой приходящей, подающейся в руки собственности, как припадающий сам собой к распаленным устам водяной фонтан, ну пусть не фонтан, фонтанчик из свернутой медной, а, может быть, бронзовой, трубки, к которому припадают устами на пляже на берегу, и свернутыми такую же трубкой губами, сморщенной в мочку лодочкой-гузкой, хватают и пьют, хватают и пьют, как кот, подбивая выплескивающуюся, выхватываемую рыбой струю невидимо спрятанной, не показывающейся в своем обнаженном мужском неприличии мохнато-розовую лапою распалившего себя языка.

У Миши подрагивало ожидающее, настраивающее себя нутро в предвкушении кажущегося надвигающегося свидания. Он даже совсем забыл про Филиппова, про то, что ему обещал, чтобы сделать... В аптеку, что ли, или в хозяйственный магазин? Они с Филипповым позавчера еще договорились, собравшись, оговорить обстоятельства предстоящей на вечер встречи, такого тет-а-тет randevu, наедине с Солодухиным вчетвером. И вот всё такое повылетело, повыпарилось, поразлетелось, словно бы шел, готовясь, намереваясь, и вдруг тебе на – упал, побудившись, весь в зеленовато взметнувшейся кверху кашке, пустырнике и череде, обляпавшись, рассморкавшись, затёрхав недавно отстиранный мамой перёд. Филиппов, озлившись, мог не простить нерадения. В последнее время всё напрягалось и волоклось, ожидая решиться как-то, и надо было ещё, нацелившись, порадеть, а тут тебе на и вот...

Кому бы в голову повзбрело расковыривать старое, кто мог что такое сказать, обвинить? И тут не до шуток с девочками, не до вхождения в личную жизнь. Личная жизнь сменяется и проходит, а смысл и его значение остаются, требуя напряжения, участия и всяческих там стараний. А Миша здесь, и нахохленным комаром сидит, и что делает, чем таким подобостынным занят, над чем проектирует головой? Надо менять, разводить, раскладывая приходящее, чтобы не был, не стал, не случился

застой, это как навходящее масло – не будешь его шевелить, затянет, заволокет, погребет, и что тогда со всем этим произойдет, кому будет нужен намеченный разворот?

Выходило немного гадко, немного сердито и зло. Почти как всегда с Филипповым, когда он бывал в ядовитом духе, но ведь надо же понимать! Филиппов ему как отец, ну почти как отец, где найти такого другого, чтоб почти его содержал? Студентом был – Филиппов давал учиться, живи своей жизнью – не возбранял! Потом тоже как-то так кое-как поддерживал, приходил даже в комнату навестить. Раза два, случалось, бывал, по плечу похлопывал, спрашивал с интересом “Ну, и как?” И Миша ему отвечал, начинал отвечать, увлекаясь серьезностью постановки вопроса, не замечая времени, не чувствуя состояния, расположенности, благодушия, неблагодушия Филиппова, попросту отвечал, как если б спросил его заинтересованный им родитель, но родитель не спрашивал, а Филиппов был здесь и вопрос-таки раздавался, звучал. Надувши сердито-важные и очень серьезно-солидные губы, Филиппов, казалось, слегка приседая, кивал, невидимому кому-то раскланивался, кому-то, кого только он и видел, будто кто этот шел впереди него или несли, развернувши тылом к нему, портрет, чтоб он видел, и Филиппов в портрет смотрелся, как в зеркало, и говорил, размеривая всегда свое говоримое, понимая серьезность и важность происходящего и, сказав, молчал, казалось, приглаживаясь, примётываясь и приминаясь – свое повставшее от переполнения волосьё. И в эти минуты, почти на верху блаженства, Миша ему свое говорил, а Филиппов, понятное дело, не слышал, кто же может его за то осудить? Потому что даже если б и слышал и спрашивал не из одного приличия, а по охватившему вдруг интересу, то не было бы это простое “Ну как?”, а что-нибудь более или менее обоюдное, что-нибудь приохватывающее, какой-нибудь общий спев.

К чему вообще это кваканье? Для него самого незаметно в Мише рождался неясный бунт, не направленный на Филиппова, а так вот вообще. Потому что то Солодухин, то всякие там вхождения, то прикидывания, то совершенно безумный,

дурацкий, вертлявый проект, и без того не дающийся, а Мише, как архитектору, так прямо навязывавшийся, с поручением чуть ли не за него отвечать. А разве может такое Миша, разве он одолит, когда его так не воспитывали, когда никакой ответственности, и только на всем готовом, и ничего своего, никакого такого царя в голове?

Возмущенно привставши на ноги, Миша махнул по округе раскинувшийся простор, не заметив, не выхватив боком глаза сдавившую, сжавшую обзорение крышу дурных домов, подошедших чуть ли не к самому окоему. И вставши на ноги, привздохнул, понабравши воздуха в легкие, не распрямленные до того в кривуле согнувшегося сидения. По небу неслись гагары, он ясно это отметил, сомнения быть не могло, в типично гагарьих в накидку платках распашонкой, с опушкой крутого воротником бедра. В гагарах, как в скачущих только на задних лапах зайцах, словно в балете, было что-то знакомое, какое-то женскою ляжкой, не раз ему видевшееся, мелькающее перед глазами бедро.

Озабоченным Миша не был, хотя и хронически не хватало, как-то так, можно сказать, обходился, своим воспитанием и в привычном своем кругу, но временами могли выставляться перед глазами какие-нибудь там празднично-пиршественные насыщенные картины, не такие, конечно, как где-нибудь там по помпейным стенам, но всё ж не совсем и прикрытые, и отмечавшееся это заячье-лебединое журавлём бедро могло, если не волновать, то несколько теребить и смущать целомудренно устремлённую внутрь душу, нацеленную на постижение и созерцание, а не вторжение и подавление, подчинение бешеному себе. Как у какого-нибудь там прохиндея Зайцева, или Каюрова, или ещё другого кого.

И вот теперь, повыставившись на бугор, Бонапартом-соколом, намечавшим новую жертву, всем своим дрогнувшим эротическим существом, смущенный Миша почувствовал одоление этим явившимся перед глаза бедром. Зайцы скакали в балетных пачках своих опушин на крутившихся талиях и поясницах, а Миша, даже еще не столкнувшись, не повстречавшись с грядущим женственным, ему маячившим на

качавшихся шпилях, нетронутым Машиным существом, уже ощущал наущение, с нарушением чего-то в себе привычного, какою-то тягу и колготню.

Какие-то мелкие поначалу, но всё нараставшие, грозные, снизу мурашки заподнимались, затюкались выше и выше, стремясь к голове. Загомонили внутри не будившиеся неделями, месяцами блистания, молниями расsverкиваясь в животе и в груди. Стало мутрно, маотно, не по себе. Миша поймал себя на каких-то сомнительно его обличающих мыслях, на каких-то стремлениях, тяготах не к тому. Подумалось, стоит ли? Будет ли, выйдет ли что из того? И следом – а что Филиппов? Что скажет, когда узнает, и как всё это перенесет? Тут же всплыло, другим нутром, где-то сбоку, какое-то новое сожаление и еще одно беспокойство. Аптека и почему-то пляж. На берегу пахло йодом повывалившихся из моря водорослей и мокрым деревом, пораскиданным там и здесь. Купались упрямые чайки, ходили кудряво-понурые по небу облака, какая-то утка плескалась словно бы в озере, не замечая качавшей ее парусами волны.

Подумалось что-то опять. Почему бы и нет, подумалось, другие ведь это делают, могут, почему ж это можно другим, а ему нельзя? Острое чувство общественной несправедливости в следующую, случившуюся минуту захватило его, взволновало, качнуло, бросило, как намокшее дерево на раскинутый покато́м пляж. И захлестнуло, и заворочало, замолотило, поднявшимся недоумением в воспаленных висках. Уши, напрягшись, заколотили какой-то до боли знакомый, подъёмный, крутой мотив или марш, какою-то дерзкою свою марсельезу, намереваясь, сорвавшись, подняться и захватить, занять собой еще остающееся и потому не занятое, свободное по округе пространство, невинное место не посещаемых тихих радостей натурально-нетронутого, естественно-девственного потому еще бытия. Корабли их мачт уже затрубили, тронулись и пошли. Поход тут же стал неизбежен и предрешен. Его результаты и следствия определены заранее и дислоцированы в чем-то себя взбудоражившим и несгибаемом мозгу. Никто не спросил его, не трубившего Мишу, никто не советовался непосредственно с ним. “Как всегда”, —

промелькнув, подумалось, и это действительно, по-настоящему была его здравая мысль.

Приходилось спускаться, чтобы не быть как все возмущенные. Чтоб не жалеть потом о прошедшем. Чтоб не отчаиваться, раскаиваясь и монотонно бить себя в громкую валом грудь. Это лучше, чем так вот дурачки слушать движения сердца у вяло текущей мимо струей воды, чем поддаваться в себе вставанию и чикавшему на кусте соловью, в себе притязанию на всяческое не свое, полагая, что, подчиняя, раздавливая, размахиваясь, кладясь, достигаешь чего-то там, какого-то нечто, свечения и утверждения в ново-достигнутом, вечно невечном себе, в каком-то манящем, обманчивом, перемётном высказывании наперерез, вперекресть такому же восстающему и не соглашающемуся, метущемуся возмущению рядом другого.

Миша не намеревался, не был настроен делить махающее перед ним полотнище водяного пляжа и голубиную лебеду шевеления неясно тревожных в нем струй. Мише в общем-то было неплохо без Маши. Так показалось только, что хорошо бы увидеть шпиль и тяжущееся с ними бедро, в заходящем обводе объемлющее, захватывающее что-то еще, так не похожее на его, на Мишино, резкое и обрывистое... Но ведь не всякую повстающую маетную желание-мечту надлежало и стоило, всхолив, удовлетворить. Можно было ее и оставить, не брать с собой, подвизаясь в свою аптеку, бросить, не насыщённую, на траву, тихо и молча встать, приподнявшись на пятках, как на стременах, и пойти, раздвигая ноги, переставляя ими, перемежая шагами то там, то тут...

Памятная всем суета

Громко ударили палками в нависавшие бубны, будто бы в колокола. Зарокотали, забегали по шепелявому небу стуки и звоны гудений. Вообразили себя императором. Сразу двое, как будто имели по три головы, а Филиппов картинно сидел, заложив ногу на ногу, делая вид, будто всё успел и ничего теперь не

потребует. Будто уже наострились задуманные, ошалелые впалые дни, но вот нет хотя, но всё-таки непременно придёт. И бессмысленно, глупо, дурацки растрачивать помыслы на сидевшего перед ним Коротина.

Коротин ёрзал, ходил ходуном под взглядом уставившегося Филиппова и словно бы осуждал, словно бы, взмыслив что-то своё, не хотел отдавать, держа в себе как любимую куклу, прижимая её к груди, лаская внутренним трепетом непонятно взбудившуюся, всходившую, всподнявшуюся в себе непомерную дрожь, ниоткуда возникшую и уходившую в никуда, маша на прощание лебединово маетным, показывавшимся и тут же скрывавшимся, западавшим крылом, как надоевший актерам на театре герой, заваливающийся за задник к концу не слишком удавшейся пьесы. А потом, опомнившись, очнувшись, опять-таки словно бы, мимо смотрел, не видя и делая вид, что смотрит непрямо и мимо, за куролесно безликую даль, развалившуюся, расставившуюся по миру, начавшись тут, за углом, под самым носом уставившегося в нее Коротина.

Миша не приходил, хотя звали и кликали, выходя на бугор и корячась, и греблясь, и крикая черными галками. Небо ходило пойманным под парусину зверем-дождем, и плевалось, и хрюскало, скаля им зубы в лицо, и сыча, и, хотя не пугались, напуганные, нагавканные другим, но потряскивались, подрогивались, слегка мешаясь и делая вид, что им всё это ничего, что совсем даже ничем им, наученным и просветленным. Шалили даже, играя как бы, пытались шалить, привставая на вытянутые носки, махали нахально рукой, как будто платком или содранно разделенной на части рубашкой, хотели привлечь над собою кого-нибудь наверху пролетавшего. Но он им, летающий медленно, не отвечал, переходя и спускаясь в своем мерном беге размашисто тикающих, каплющих ровными каплями на постаменте рояля часов. И они оттого исходили совсем уже невозможно паяцной дурацкой кадрилию.

Филиппов напрягся спиной, вдавившись, посаженный на всеобщее обозрение. Становилось досадно, затравленно так вот сидеть. Будто выставленный под балдахин в своей клетке

зеленовато-седой попугай, ожидаемый брякнуть, ругнуть весь наскучивший опаскудивший строй в трех строчках-стихах новомодного пасквилянта. Строчки не приходили на ум, терялись где-то и в чём-то, в какой-то пыли, завалившись, забывшись лежав. Собравшиеся вот-вот, разойдясь, подогреясь, должны были уже начинать свое – потихоньку похамливать, нервно хихикая, тюкая, подбодривая, похлопывая себя, пока, рассердившись, озлясь, не надумают вдруг вскочить, чтоб опять засвистеть, кидая вперед помидорами, банановой кожурой, апельсиновой и шоколадной оберткой, специально для этого смятой и скомканной.

Не было с кем говорить. Все кругом собрались идиоты. Солодухина не было. Ждали, но не приходил.

“— Не торопится Солодухин, — прокомментировали, не размазывая ехидно и брякая всё как есть, — Он никогда не торопится, это такой паразит. Все у него в ногах должны ползать и умолять, и просить, чтоб пришел, а оно не торопится. Оно на своем огороде, арбузы содит. Всего у него под достатком, чего-чего только нет, имеет, что только захочет, чего ему мельтешить в самом деле? А мы тут вот и сиди и жди, и его карауль, вот этого, потому что без них, его вежливости, нельзя ничего решить, ни одной простой вещи.

“— Да, уж это всё так, это верно. Власть, она кого хочешь исправит. Был человек человек, а как сел наверх, так и нет человека, одна остается функция, одна несуразная, глупая, неуловимая мыслью вещь. Химера и пустота одна. Одно слово – директор, шиш, дуля в том самом месте, где голова была, один крепкий задом и твердый орехом мозоль. И совсем не случайно. За всё и про всё, постоянно и каждому надо, приходится заплатить. Если б даром давалось, так не были б без штанов, а то так: хочешь себе чего, заплати, а не хочешь, сиди и молчи, потому как ничто на ничто и получишь. Не придёт он сегодня, твой Солодухин, боится, видать, а какой был король, раньше мотался, как заведенный, всюду, за каждой мелочью попевал, говорить даже было не надо, всё в голове держал, а теперь ничего не помнит, отшибло памяти на приличный ему кусок, не

восстановишь. Это как порченный мрамор: разбили – уже и не глыба, совсем даже то, что было, не то, нет в нем цельности, даже игра не та, линии поверху не идут, западают и сами себя перекручивают...

— Что ты знаешь про Солодухина? Что ты можешь про Солодухина нам наказать? Кум он тебе или сват? Детей у него крестил? Свечку ему подержал? Весёлое дело так помелом мести! Солодухин старается за ради всех, из кожи вылазит вон, чтобы всем таким, как ты, угодить, а ты тут такую небыль, тут стоя, несешь! Ты лучше стой и молчи, да следи, чтоб хмалёный-кавёрзанный этот не убежал, а то он сидит-сидит, а потом зазеваешься – и он сквозанет тебе мимо носа, ищи потом его днем с огнем по округе!..

В тихой полночи выли талые вьюги, и это зналось по общему опыту, выводящему на простор. Всегда приветливые, всегда открыто распахнутые, в объятя, зовя, принимающие леса и крутые поля, равно как и мирные муравьиной дневной своей суетой городские кварталы, по ночам становились голодными злобными волками, щёлкая пальцами, как выщеренным зубьём, улюлюкая, уськая, хохоча из кустов и лова.

Не легко им давалось преследование, не призванным, не склоненным к нему изначально. Приходилось осваивать и приспособливаться, действуя то вслепую, то наугад. Дилетантство и самодеятельность перли из них упрямо, выпячиваясь, дразнясь, выдавая их с головой. Из-за чего постоянно серчал, раздражался и выходил из себя Солодухин. Помогало мало, Филиппов об этом знал. Они же, стараясь поэтому кого надо схватить, приволочь, разобрать, растаскать, распоганить сиятельным днем, при сверкающем солнечном свете, по ночам забивались в какую-нибудь тополиную глушь, дуплиную прячущую конуру, не ухая, не выставляясь на вид, не куражась, изображая более, если по надобности, соколиную по ночам охоту на прядавших зайцев и ловлю, треща окрест и ломая опавшие сучья, терзаясь по запесям и пустырям, водя за собой по овражьям распяленные в немом удивлении бледно-зеленые маркие тени, тыкающиеся шарами в дырявую, гнусно-пещерную, хапавшую их пустоту.

Кто-то сказал из толпы собравшихся вдруг дурацкое и не к месту свое “лю-лю”, и все подхватили, заохали, загомонили в каком-то приподнято глухарином току. Распушились с шелестом крыльями, развернули кудряво приподнятые зады и султанами вскинутых в гребень волос и шапок закачались мачтами шепелявых в канале лодок и яхт, мерно покачивающихся в провожаемо вечном неотплывании, покинутые глупыми чайками на пейзаж для ландшафта на плоскость перебирающей их длинные груди невидимых миру струй.

Пошло веселие, пошли забубенные разговоры, как будто плясали и ляскали языком. Филиппов не различал их, не отделял одного от другого, все ему были, казались теперь, на одно лицо, особенно после того как, хотев развлечься, искали объект для травли и метились, что как бы уже нашли. Сам Филиппов, по положению своему и широким знакомствам и связям в определенных, приближенных к более или менее близким к ближайшим, кругах, в известной мере был особой недотыкаемой и не мог представлять собой непосредственный интерес как объект для устраиваемой и затеваемой время от времени глупой вокруг игры с понуканием и науськиванием, но, помимо этого, помимо этих стесняющих и несколько ограничивающих свободы порочных действий над ним обстоятельств, никто не мешал над ним что-нибудь учинить, что-нибудь этак вытворить для потехи, как-нибудь этак его подтрунить, подкатившись с какого-нибудь там непонятого и непрямого боку, но при этом довольно заметно, чувствительно и докучно его подхезнуть, подковырнуть.

Филиппов не опасался этого верчения и негодяйства. Ернические дела его особенно не смущали. Беспokoили обстоятельства с Мишей. Неприход его вовремя означал утрату достигнутых перед этим и выговоренных позиций, намечавшийся неущерб, и вот теперь всё могло лететь и летело уже, соскальзывая в непонятные глупые тартарары, которых не могло перед тем и не должно было быть по условиям общего договора. А они, эти уже несусветные дураки, скакали как розовые генералы на белых своих конях, размахивая невидимыми в поднимавшихся наотмашь шашками рукавах, из которых вот-вот,

прыснув укушенными солеными огурцами, должны были полететь на собравшихся и гостей чьи-то припрятываемые, чьи-то поэтому никому не показываемые, постыдные из-зарукавно неочевидные кости, которыми как бы играют, кидая, подверстывая, подмахивая, подбрасывая в общий игривый ряд, а на деле которыми только мухлюют и жульничают, не объявляя истинных козырей.

Всё это Филиппову должно было бы порядком уже надоеть, вся эта никому не нужная шелушинная ерунда, но он сам в ней завяз уже по уши и не знал и не думал, впрочем, узнать, как выйти. Жизнь протекала меж пальцев выпячиваемой руки, как в песок уходили тревожные дни и ночи, где-то бабахало, волокло, трепало, кого-то носили вперед и кругом, с кем-то вдруг начинали действовать, поступая несправедливо и тяжело, а его как бы это совсем не касалось, он бы как ангел, повешенный между стропил, болтаясь на балке подсакивающего под ним куролеса, толкаясь ногой в подставляемый и тут же отпрыгиваемый карниз, словно бы кто впереди и сбоку стоящий, какой-то там издеватель хахакал, мотаясь, подначивал и бормотал, картавя что-то невыразимо свое, только ему одному и понятное, и крутился в рассказывающем его изнутри, колотившем размахе, как клоун, как попугай на своей ноге, вокруг колеса оси своей жердочки, рассказавшееся, неостановимое, надвигавшееся, накатывавшее, неотвратимое в своей грозной мерзости колесо всё той же судьбы, когда-то уже посетившей, когда-то уже объявившейся и вякнувшей по уху всяких с ней разыгравшихся, неудачливых сопляков-младенцев, с которыми Филиппов дела иметь не хотел, но имел неволью, и вот теперь оно снова, отпрыгиваясь и отыгрываясь за свою не совсем удачную лебедню, летит по небу вороньей запущенной стайною галкой, цепляя и хакая, размахась. Потому и карниз под ним заходилась и брякал в приветствии к лёту нового, надвигающегося лица.

Лицо было бледным, сиреневым, жёлтым, чирикаясь, кувыряясь, дразнясь. Будто вылезший на небесный взбугор полосато расцветенный змей, малахитно-бумажная образина, качался, подрогивая на своих стременах, выглядывая сверху

добычу парящим орлом, щуря курчавые глазки в слепящем солнце, колхозный подсолнух на тонко подскакивающей ноге.

А ведь были когда-то и люди и времена. И Филиппов, склонившись, об этом подумал, успел подумать, прежде чем с той верхотуры упасть, на которую вознесли, повзобрали и возложили камнем, давившим несущие его рамена. Листья шуршали тихо, соскакивая с придерживавших их у края сосков. Тревожились поднимаемые в голке галки, и иволги, мявкая, тенями рассыпались за дыбившиеся и расступавшиеся перед ними стволы, тяжелым задумчивым солом взносившиеся деревянными трубами вверх, будто орган поднимался на цыпочки, тужась и тщась из себя прогудеть, и не шло ему, шепелявя, в истоме расшаркивая по поднебесью едва выходявшим с натуги фальцетным песком. А ведь были когда-то и эти стволы на древесные ноты и нужды пригодны. На что-то ведь было пригодно всё, на что-то ведь пригождалось, сквозилось, мерилось, и хотело, и шло...

Нити прошили последние зависевшие яблоки. Нити воздушной легко-тяжелой, тянущей воды. Миша не приходил, не было видно вокруг никакого Миши. Канул, пропал. Будто обвалом, вдруг наступившимся, будто сорвавшимся кречетом-камнем, в себя подбирающим, под себя подминающе гнущим упал, не проснулся, остороился, забылся, свял какой-то неясно невыразимый неясным твердый ком, бывший до этого комом, теперь же нет...

Припадание

Оставалось ждать пропадавшего где-то Миши. Тихо и молча, насупившись, грёзя, ждать. Мечтая о бывшем и о не бывшем, о всяческом невозможно, недостижимо теплом и повседневном, простом. О том, как копают, к примеру, картошку, в каком-нибудь огородном раю, исполняясь болезными тихими думами по отшедшим в небытие трудодням. Тишина не шевелит, не шелушит опадающие на плечи и лоб раскиданные как на бугру

кумохи – развевающие округ волоса. Не ходит никто, никому нет как будто дела, что сомневающийся и неуверенный в своих достижениях человек поднимает лопаты ком и слетают, сыпаются, сходят, спадают, спрыгивают с него и с нее земляные крошки прыскачу перебираемого прозрения-телепня...

О том, как наслоенный, намалиненный, насиропленный, плотный пирог с решеткой ставится под глазной обогрев на стол и размазанные, румяные и тоже тихие рожи уставляются трепетно, светясь под ним от него, как от лампы, поставленной вверх абажуром и разбавляющей мелочным бисером всё округ. Как заносающий нож не думает о суете преминувших ночей, о птичьих кошмарах пришедших, привидевшихся, вкрадывавшихся на напрягаемых ногах, о полосне и плюющей крови, отпрыскивающейся от клювей, а, рассаднясь и задорясь, замахивается и тнёт, раскудыкивая, валя и мня, бело-пышные, вываливающиеся окромы и окоёмы в лепешнях сиренево-тёмных, блестящих начищенными смородинами повидл.

Как на всплескиваемой понемногу волне ходят длинные ряслые ноги крутобоких корявых линей, шепоча, росомашась, полощась, растягивая свой трясущийся на подвязках рот, закатывая неуловимо подмигивающие глаза в деревянно-картонных прорезях, так что не видно никаких таких порошинных глаз, только капли блестящих змеек высверкивают сверчками, теребя, серебря водяные, подрогивающие впереди себя, чешуи, да коршун, нагнувшись клювом, то ли нависшим углом крылом, впереди себя тоже что-то ищет, супясь и сыркая в растормошенную мглу.

Что-то исчезло, лопнув, уйдя и в себя погружась. Заухал оглохший филин, стараясь не слишком громко кричать. Размахались взнесенные ветви тревожащихся над водой осин. Высоко, в задумчиво тихом, осевшем небе, что-то происходило, двигалось, шевелясь, стараясь себя проявить и высказаться в размокревшую немоту.

Зайцами выскочили разбойники, маша, и свистя, и гоня, были бы пули – свистели бы пули нагайцами, однако, по счастью, не было пуль. Впереди гонимого неслось два тяжелых

молотобойца, с громким стуком и гнетом ногами топча подворачивающиеся грузди и камни пахотных комьев земли, выскакивавших из ниоткуда. Луна светила им в спины всем рассаживавшимся, раскакивавшимся по плечам и по ребрам ремнем. Маячилось все и меркло, не зная, куда себя деть. Ступней угождая в борозду, то и дело переворачиваясь и полошась, будто вскакивавшие и западавшие тут же мишени – плакаты наставленных на прицел людей, так что не зналось, когда появятся вдруг, а когда западут, – раздосадовались, растыкивались по полю, мешая бегущим с уверенностью ловить и следить одного, а потом другого и третьего.

Миши не было. Кто бы подумал, что Миша, залившись, валялся в поле, как сброшенный с тарантаса сундук? На него наскочили, споткнувшись и поначалу никак ничего не поняв, а потом устроив вокруг бесконечную воркотню. Решали, что делать, обсуждали одежду, лицо, обстоятельства, необычность лежащего к югу. Размышляли над бывшим и павшим, как если бы что-то должно было быть и произойти, как если бы от него что зависело, от его положения долу...

Пообхлопали. Пообтрусили спереди, сбоку налипшую струпьем золу. Лежание на краю давало, с одной стороны, преимущества – недалеко до дороги, но создавало опасность, и создало, с другой, попадания в пепел и тлен, в обсыпание прогоревшим, в припорошение остатками бывших подсолнечных бодылей. Миша не соображал, по-видимому, что происходит. Штаны и рубашка на нем тряслись, как на жердях пугала, волосы разъерошились и на чем-то таком сошлись и съехались, будто и не его. Он ничего не помнил. Не помнил, что собственно произошло, как случилось, что, заблудясь, зашаркав, он оказался в полях один, как погрузился, упавши, на пепелище, ногами к северу, затылком к югу и весь в пыли...

Были тут рядом мертвые, погруженные при дороге в свой сон. Сидели при нем, тихо бдели, покачиваясь на пятках и ворошась. Были полёвные мыши, суслы и кулики. Были невидимо змеи, мерцавшие в полосе между пней. Были размахивавшие тяжелыми флагами малахайцы, раскиданные держалами

наскакавших копыт. Были курёмы и марадумы, стоявшие и уставливающиеся на лежавшего из-под покрывки куста, вытягивающимися губами навстречу дувшие, чтоб остудить жар и холод, распространявшийся вокруг него. Были лисицами вспыхивавшие по окоёму огни, встрескивающие и трепещущие где-то там себе далеко. Были небесные лики попыхивающих звездно встревоженных лун, распростиравших над повалённым Мишей свою непонятно откуда сеявшуюся серебряную лепету. Были рыбы, вынырывающие из облаков и плёскавшие на Мишу сыплющимся дождем. Были рукатые машкероны, в ряхах и разлетах, покачивавшихся на тало летавшем ветру. Наклонялись над ним, напряженно нюхали, внюхиваясь понять, что к чему. Были раскидистые котомы, прикрывавшие всех прилежащих тяжелым мохнатым шатром...

Упущенные где-то себе впереди исчезли, как пернатые стрелы, слетевшие со своего гнезда. Никто их не гнал, оприходуя Мишу. Как выйдя из люльки, проснувшийся не до конца, он бормотал им что-то, растормошенный, поднятый, вспугнутый наскочившими, ленивое, медленное животное, пожевывающее на темном солнце и в ветре свою траву. Был, казалось, пляж, на котором лежалось, а вот теперь наседали, давили, мяли, чтоб объяснить, что он такое здесь делает, предоставленный сам себе. Солнце еще не зашло, а может быть не всходило, а ты расскажи, размусоль, разведи, кому и что и где полагалось, кому и где надлежит быть, кому коврижки, а кому игрушки, кому живьем, а кому в кутерьму, кто к тебе приходил и с кем тебе рядом лежалось, и какое с утра было солнце и какой был пляж. Гавкнулись сразу мечты о будущем и перспективы никли, подмытые налетевшей волной. Песочные замки мылись, разглаживаясь каждым шагом не отступавших пен, шуршали невидимые иголки намоченных размочаленных порошинок, скакали крабами бревенчатые мизгири, на подрогивавших дергающихся ногах, выставляя дутые свои клешни кверху — размоленные оранжево-красные пузыри.

“— Ищем и не находим, — заметил задумчиво Люморев, — может быть, ищем, да не того? А говорится, что ищущему всё

открывается, всякая там под покровом мистериозная тайна? Я вот всё думаю, а не обманываем ли мы себя, когда решаем, как быть, как и с кем поступать, решаем? Когда выдается одно, а выходит всегда другое? Ведь те, кого ищем, прячутся? Не просто, не только прячутся, но выворачиваются куда-то там на своё? Пространно думает и пространно решает разбавленный, обладающий всем человек, а что и куда идет? Что мы, собственно, можем? Хватать, обрывать, кидать?

Было тихо в стоявшей вокруг немоте, еще немного и вовсе бы все запропало... Потому, может, так расходился во вслушанных мыслях Люморев? Дни ему шелестели в туманно взъерошенной, пометеленной голове, дни мельтешили, путались, все время одно и то же, одно и то же, все время бодня и гон? Все время кого-то ловить и преследовать? Кого-то дудеть и гнать впереди себя, который был неизвестно зачем, почему преследован?

Солодухинские обои почти всегда были ляпаны и аляповаты, ляпаны натекавшим внутрь через крышу дождем, аляповаты по грубости и безвкусию, но оттого становилось всегда тяжеле, тревожнее, муторнее на отпотевшей душе. Подчиняться легко, подчиняться почти ничего не стоит, не надо ни думать, ни говорить, говорит за тебя Солодухин, думает тоже он, но в этом привычно себя разомлевшем, освободившимся от забот и освоившемся подчинении есть не высказываемое пренебрежение и протест, заряживаемая постоянно готовность тешить одно свое, ласкать свою нежную, мягкую прихоть, как плюшевую, загадочно привлекательную, лелеемую тихо мечту. Может быть, в этом и состоял секрет люморевского задумчивого перенесения, как бы высказывания не от себя, от себя заблудившегося, взявшего не надлежавшую обстоятельством и предписанным положением роль?

Между тем продолжало быть тихо, никто ничего не сказал. Качнуло махнувшим откуда-то холодом. Хрустнуло пожираемое за спинами кем-то стегно. Ромашкой посыпались спавшие листья травы. Миша проснулся, обуженный и отчего-то взбодрившийся, и привстал.

Казалось, открылось всё сразу. И одновременно казалось, что упустил. Что-то главное, чему надлежало быть, но чего не было, в запыленной и углой дали. Ворохнулось где-то смешное чувство, совсем как в детстве, когда чего-нибудь вдруг привирал. И Филиппов с головой садового сторожа так походил на отца. Так до боли кривил непонятной усмешкой губы, спрашивая, не издавая звуков, не задавая вопросов, невидимой только нижней губой слегка шевеля, как будто вздрагивал на ветру то ли комар, то ли листок на мотающейся ветке на подбородке. Что хотел сказать? Ведь говорил, не передавая устами слова, не оформляя их в мельтешение речи? А что говорил, кто весть? Надо было, усилившись, приподняться, склониться невидимым ухом, припав к траве, чтоб услышать, точнее разобрать шевеление не раскрытых бесед в душе ничего не сказавшего, продолжающего молчать.

“— Долго мы будем вот так тут лежать? — спросил усомнившийся было Люморев, но одолевший сомненья в себе, помешавшие дернуться перед этим и всех одернуть каким-нибудь разметающимся по постели криком, по дикому полю взлетевшим зайцем, мотнувшим над глыбами вымаханной из себя земли, по косою, там и здесь, перепрыгивая, перебегая и перегибаясь мелькающим шаром, комком бессознания.

“— Может, поднимем, раз не встает? — охотно себя предложил в услуги Песоков, и протянул было руки, смеясь, тяжелые, длинные руки. — Приподнимем и на руках отнесем.

“— Не забывайте, однако, про человеческое достоинство. Руки марать не будем, пусть встанет и отнесет себя сам, а то на что всё это будет похоже, когда каждый каждого начнет, опекая, таскать? Не хотел бы я жить в таком мире, когда, не считаясь с твоими желаниями, тобой начинают водить, поднимать, расставлять по углам, ставить и прислонять друг к другу...

“— А что на всё это скажет нам солодухинское начальство? Куда его передавать? Много чести, по-моему, а с кем, если вдуматься, мы имеем дело, по-настоящему если вдуматься и посмотреть? Ведь перед нами какой-то там недомученный, разбалованный, иссарафаненный перманент, охваченный

самомнением и величием несказуемый типус. Я не могу, меня за рукав берет и изнанку показывает, когда я встречаюсь с такими распахтанными, разохоченными в чужую дуду дудеть плясунами. Я, можно сказать, всю жизнь, половину всей жизни своей посвятил и отдал на то, чтобы с такими хотя б не иметь никакого дела, и что я всякий раз вижу? И вот, что теперь? Как всё это назвать? Как назовет это какой-нибудь бойкий и образованный скорописака, коль скоро я не могу это никаким приметным словом назвать, никаким таким подходящим именем, кроме чего-нибудь мелкого и недостойного? А ведь и жизнь ушла далеко и на двое уже не тот век, и вообще посмешалось всё уже на этом дурном дворе, если ни я, ни какой-нибудь уважаемый Солодухин, ни даже он, ни даже начальство его, не говоря про такое его начальство, сидит, молчит и не знает, как быть, если он и оно сообща призывает на помощь нас, меня и других, на таких вот, как мы удовольствие здесь имеем только что созерцать, на этих прохайцев?

“— Подумаем, — сказал веско Люморев и с каким-то нажимом. — Подумаем и, может быть, не снесем. Я согласен, что жизнь того стоит или не стоит, поскольку всё это смотря с какой стороны посмотреть, жизнь она у каждого разная.

И говоря таким способом о том и об этом, они как-то ловко и не касаясь Миши, Мишу приподняли и понесли. На какой-то там ожидавшийся и планировавшийся ему разговор, на какую-то общую разбеседу...

Царёвы свободы

“— С днем прошедших именин, — говорили входя. Наклоняли головы, чтоб не стукнуться о косяк, и входили по одному.

...То были дни, впрочем, как все остальные, немного сонные, немного с трезвотиной, немного сами как будто во сне, отчего становилось лениво, маетно, сутолочно и не хотелось никуда приходить. Но надо было, так, как всегда. Как приходят в

дни назначаемого ежедневно присутствия, не глядя, придет кто или никто не придет, не считаясь с этим, поскольку почти никого это не интересовало. А если интересовало, то через одного, но и тех лишь постольку.

Нервически суетливо вел себя только Люморев, но он, впрочем, был такой. Когда в открытые окна влетала муха, распевшийся к ночи комар или дневная, сдурев, оса, он начинал кричать, подскакивая, и бегать, хвататься за что попало, чем-нибудь громко и неосторожно размахивать, задевая вся и всех, – полотенцем, газетой, бумагой, схваченной со стола, – начинал бояться укуса, его последствия, столбняка, малярии и всяческой ерунды, чего никогда ни с кем не бывало и быть не могло, тем более, что никто никогда его не кусал.

Могло показаться, что это какая-то странная с удвоенным и утроенным дном игра, какой-то необъяснимо далекий прицел, какие-то никогда им не высказанные идеи, какой-нибудь анархизм, обман, политический трюк или ширма, за которой скрывают совсем неожиданный и не тот разворот. Все выглядело как-то убого, как-то крикливо дурацки и зло, с каким-то упором, искусственностью, рассчитанной на эффект и внимание. И если б кого-нибудь это интересовало, тот мог бы сделать на этом какой-то акцент, использовать подворачивающегося вечно под руку в неурочное время Люморева и заходить буйной зеленью у всех на глазах. Но, к счастью, из значимых никого это не интересовало, а все другие и не могли его ни на что использовать, разве что попомонить, но гомона и без него было вдоволь, без Люморева.

В башне не было никого, когда туда попытались ввести за собой Весёлкина. Тихо покукивали над открытым камином часы в простенье, свисали на нитях шмарагды, раскачивалась заволочь не обираемой пыли. С хлопом, поднявшим бумажную лёжу завали, появился Мордук из двери, стал посредине в позе. Расставил широкие ноги, локти упер в бока. На обвисшем пожарными зарослями лице, как на блюде, появились молочные реки кисельные берега, обещания неги без ограничений свободы и предрекание остановки после долгого и выматывающего пути. Что-то стало в них, спряталось, всшевелив желейно качнувшую на

бровях кисею. Улыбнулось краешком губ пренебрежённое, походившее где-то, опошное сожаление, желаясь, однако, не выдавать, самым их окоемом, едва заметным и прячимым под ноздрю. Та открывалась цветком, шевелясь и взрогивая, и закрываясь на ветер, как на закат увядающе мокрый к ночи тюрбаном мак, опавши, смякнувши, завитком утомленно откинутой вниз виноградно-лелейной кисти.

“— Тютю-мутю, за мати принять, — сказал неожиданным жестом Мордук.

Он никогда до этого не говорил вот так, чтоб невыразительно мутно и неприятно, ничего перед тем не суля. Обычно расставлял и долго мям, как подошву, акценты, рассиренивал, телемачился, примеривался, вознамеривался и разводил, стучал и кивал глазами, лизал и крутил в зубах языком, прятал взор в игольницы наступающих сверху бровей, и только потом уже, всем и себе в их числе надоев, высказывал некую мысль, которую все должны бы были принять и ославить, если бы только могли вот так вдруг и сразу, а то ведь еще думать, ломать и ломаться, примериваясь, тяжелые напотевшие устанобы, развяливания чуждой игры, каких-то бродячих признаков теней, немислимых паутин состоявшейся в тайных связях всеобщей людской любви?...

Нет, не могло так быть. Мордук, видимо, попросту не проспался, не с той своей левой ноги сегодня привстал и повис на ней, как вцепившийся за карниз, упавая, как елка на мишуре, болтаясь одной ногой в налитым водой стакане, а другой, за верхушку, маша остроносым флагом опротивевшем потолку небесам...

Ах, как здорово было мотаться на санках с горы, разбивая носом подскакивавшие бугры, в снегу и в воде вываливаясь по самые лужи, замерзшие в этот раз, словно стекляшки зеркал, сметенных с балкона уставшей их скидывать каждый раз подворачивающихся ей под руку соловьиной метлой. А Лиза, что то была за Лиза, которая их с такой методичностью сталкивала, как будто дело было вовсе не в них, а в какой-то дурацкой ежедневно ей забиваемой и не хотевшей этого шайбе! Что только

делает с человеком любовь! Который раз уже говорю об этом, и молчит, не тревожится, не пищит ничья в сдавленном своем покаянии вертлявоподобная и тихо по-своему плачущая в таинственную, не раскрываемую, не объявляемую тряпочку мелкотравчатая, нежно пригубленная душонка.

Зайцеву не простилось, Зайцева быстро отвадили, хотя настояще он, может, и был отец? Но кто знает, кому дано знать, кому будут ведомы извилистые, темно скрывааемые внутри души закоулки? Что там соединилось, что сдвинулось, что в действительности, настояще пошло, когда возникало и появлялось и пробивалось степенно на свет? Но вот не за это ль страдать подвязываемому, прикручиваемому и переставляемому пред большие очи Весёлкину, хмурящемуся и отнюдь не довольствующемуся такой непонятной и злой судьбой, не его, может быть, потому что не он всё зачал, его не было в этот миг, а кто был, кто присутствовал, кто участвовал, кто даже просто видел, не скажет.

Всегда ведь бывает так. Один насорит, напортит, намажет, а другому, ни в чем не провинному, отвечай. Но Мордук справедлив, Мордук всегда знает, что происходит, Мордук укажет, и не скрипит, не сдается, ему никто не указ, его никто не подкупит, нет такой цены, за которую можно его купить и продать. Он смотрит соколом, браво, прямо, и бровью при том никакой не ведет! Он светел ликом и царствен, приятствен и ко всем равномерно приязненно зол.

В этот раз, однако, совсем не так отчего-то случилось. Сбилась с мысли и колеи робеспьерова неподкупность, всё хезнулось, мякло и с прахом пошло. Отчего бы? Никто не знал. И хотя его, как обычно, поздравили и стали вперед кружком, чего-то не было, какого-то необходимого веяния вдоль, какого-то важного материала, перемежающихся, длинно ходящих полос-витрин, привычно бьющего на эффект маскарада, веселящего душу ландшафта, распахивающегося на открытый воздух простором свободы мнений и выбора и слез умиления вокруг глаз, какой-то этакой там ерундовины, приподнимающей всяческое собрание за какой-то неведомый, приспешающий, примахивающий ей

колорит, и веселие, и вселенскую грусть в ее одновременности, зовущую, подвизающую на поиск в себе и в других чего-то невыразимо вечного, чего-то неуловимо простого, до боли не познаваемого и непонятого никому, но что-то ведь было, когда, улетучившись, связывало, выпариваясь на вскрытых испариной, побуревших лбах.

“— Ну! — сказал, постучав сапогом о косяк, какой-то из затесавшихся, начавший заметно терять терпение, — И долго мы еще будем вот так стоять?”

Все это тоже не помещалось в планы, поскольку стоявший, по видимости, сам не проспался иль с вечера перепил, поскольку сильно тошнило на всех и качался на явно не ослабевающих, не поддающихся собственному вразумлению и словно к полу примерзших ногах, будто две рыбы с ночного привозу еще не распавшихся надвое по морозном утру. Мордук хотел глянуть грозно, чтоб осадить, чтоб ни один не смел так при нем себя проявлять, но не хватило какого-то импульса из-под бровей, какого-то внутреннего запала, какого-то злобного нетерпения, когда нервно мечут на рядом стоящих своей икрой. Поэтому, как-то так настрополившись и раззолившись, бледно икнул, продвинулся как-то так немного вперед, повел рукой в сторону расходившегося и оборвался.

Мишу выставили вперед, задрав отчего-то конец рубашки, так стоял он, напоминая вывернутый низом в том месте совок. Похлопывал по плечу его рядом такой там один стоящий, тренированный по плечу побивать, отчески снисходительно и фамильярно. Мишу пытались заставить наговорить. На Филиппова, на неизвестного ему Сквородкина, почти на всех. Миша бычился, внутренне сопротивлялся, ничего, однако, при этом не говорив. Любость и лепота мерещились в каждом таком ему благородном шаге. Молчать, сопротивляться молча и не говорить — святое дело в таком стеснении и коллективном надавливании на самые нежные струны твоей души.

Он это давно усвоил, еще когда в яслях был, когда водили строем на поводке, держась за общую ручку, протягивающуюся невидимо между пальцев у всех. И потом, когда заставляли

держат это честное слово, даваемое не по кому перед памятником никому неизвестного... И даже еще потом, когда не все говорил Филиппову и о многом молчал, хотя тот прекрасно видел и чувствовал, что молчит он о чем-то своем, невыразимом и внутренне сущем, не выходящем на общий простор, сидящем, прячущемся. И совсем уж потом, так что совсем вроде бы и недавно, бывшем едва ли не в этих днях, когда сидел у воды, а тихие утки плавали где-то там на своем берегу, не подплывая и не удаляясь, как неживые, как брошенные купальщиком пластмассовые подобию этих самых птиц... Так он сам с ними когда-то плавал, в ванне, в далеком детстве, пуская поверху мыльные пузыри, посверкивающие румяными радужками на желто-прозрачном, просеивающем свету.

— Кто на кого напал? – Вопрос был странен, звучал как-то сверху, по-видимому отбиваясь от потолка, но никого при этом не удивил... Злобная природа всякого мыслящего существа пробивалась и трепыхалась в нем, как на раскрытой под нос ладони. Аргументировать и объяснять было б напрасно. Открытые, не скрываемые мысли забились, выпущенные, настойчиво бьющими пчелами в невидимо разделяющее окно, распахивающееся вперед раскладушкой-террасой, поставленной здесь как намек... Мысли о бренности, подлости существа, мысли о зависти, злобе, поиске, ненависти, желании навалиться, схватить, поглотить, погубить... А кто кого искал, кто кого хотел съесть, кто на кого напал, покушаясь с высокого верху? Кто, раскидав под ногами сети, рассчитывал подловить, подмести, подгрести? Кто рыл яму какому другому, кто кого за микитки вел? Потому что Миша только один стоял немо молчащим укором, с повывороченной наверх рубахой из-под частью расстегнутых из-под оборванных пугов штанов, а остальные, хотя не сидели, но наблюдали стояли и, наблюдая, бахвалились внутренне своим превосходством, своей непонятной лучшестью неизвестно с каких таких темных глаз. Потому что им было дадено, то, что не было дадено перед ними ему – кусок воздушной свободы, за которую, уцепясь, можно делать вид, что паришь, как надутая ватой сахарная на вкус бумага, обжимаясь, желтеющая

под мокрой губой. Потому что, кичась своим обладаемым превосходством, могли они делать вид, что минует, проходит, не задевает, не трогает, не касается их, то, что прямо трогает и задевает вот сейчас его, рукой способного быть толкнуто ими задетым, плечом, бедром, ненарочной как будто ногой. Потому что могли они обладать им, как обладают мячом или шаром, играя себе на бильярде или в дурной футбол, валя по полю и на доске стола, разматывая, раскатывая, примериваясь, передавая один другому, делая вид, что от избытка чувства привязанности, доверия и даже любви. Мише бы не поддаваться, Мише бы, рассупоненному, распоясанному, помятому и покрученному, быть собой, так быть собой, как никогда не быть, не удавалось, не приходилось быть до того при живом Филиппове, потому что вся острота понимания достигается, приходит потом, когда нет объекта уже, обострившего необходимость его достижения, отошедшего, сгнувшего, запавшего, отвалившегося, исчезнувшего...

“— И что? — снова грозно раздалось сверху. Но никто не ответил, знали, что незачем отвечать, что ответ приходит сам по себе, таким же наитием сверху, спускаясь на тонко хлопающих неслышных крылах.

Гулкие арки купола где-то там в этом верху поахивали, зрея в немом отшелье, не издавая из себя ничего. Ожидалось бреющее, но еще не выходило, не созрело внутри себя, не оформилось, не проросло. Мордук стоял, напрягая мысли и взгляд, как вознесенный над пропастью деревянный конь, собиравшийся стуком своим в мостовую всех утратить, остановить надвигающуюся грозу возможного неповиновения и бунта. В расставленных луках бровей мелькало лихое коварство, усилие из-под неволи, гнездящийся пестрыми яйцами гнев. Ноги стояли столпами, упершись упрямо в подставленный пол. Вздрогнул и покатился шум, задела стул, с громом боком упавший вдруг и повалившийся, словно идол в реку тщедушных желаний и маеты. И хотя это не ожидалось и не готовилось, было и оказалось кстати, порвав нависшую и набрякшую грозную тишину. Грозную, впрочем, для одного только Миши, потому что

никто другой из вокруг и рядом стоявших, не принимал падения и удара, за этим следующего, на свой видимый счет. Удара небес и падения тяжелой руки карающего на голову не винящихся и бунтующих пред очами того его, кого видели вот теперь пред собой воочию, и даже если б то был не он, и совсем не он, неважно б было – одного легко поверху молотящего заменить всегда можно потом на такого ж другого. Много их жаждуще страждущих мучающихся величием собственного битья, всегда готовых прийти и стать, очень, неисчислимо много, бери горстей...

Мишу вынесли дальше еще наперед, чтоб был виден, чтоб не в укор, что не хотелось, не важилось, чтоб помнил и знал...

Стрепетов

Ложечкой поперхнулся вдруг Стрепетов, кручёной серебряной ложечкой на гривястых игольчатых стременах по дырвчатуму, в мелкие блюдечки, потемневшие от неупотребления, ободочку, подарок ушедшей бабушки и вот теперь так нежданно ему о себе напомнившей. К чему бы это? К добру? Не к добру? А может, только предостережение, будь осторожен, не вадь, не балуй, не спеши, когда ешь или пьешь, а то девушки любить не станут тебя, поперхнувшегося? А может быть, и ничего все это не значит, одна предрассудь?

“— Вадик, ты приготовил уроки или опять досидишь допоздна?”

Дни шли за днями, один по другому, большой чередой, и ничто не менялось в той дальней жизни. Когда всплывало, когда приходило и поминалось, само, вот так вдруг, без сна и зова и напряжения, время, движение представлялись всё теми же, остановленно неприкаанными, привычно освоенными и отчего-то большими, будто надутый шар, будто через трубу распертыми, через вставленную пестрым задом вовнутрь трубу.

А какая была поросячье сиреневая, с хлопотливыми щеголиными крылышками на ней накидка! Какая распахнутая,

открытая мордочка с рожками на макушке, какие щелочками в ресничных точках глаза! Не вспомнить было нельзя, когда, подпрыгивая и радуясь, воробьиной сыпавшейся булавочницей из ягодного куста, она щебетала, чивикала, поджимая в растрёпе губы и щеки, и окоёмные локончики подскакивали пружинно и живописно пушистым барашным бордюром вокруг оживленной кругляшки лица.

А Телепенев, их общий соперник и друг, надутو высокомерно стоял где-то подле непоодаль всегда равнодушным по виду столбом, всегда на фоне, всегда в затылок и в бок, всегда презрительно справа и наискось и в глубине, словно мерил упорно, взвешивал и недомерял.

Телепенев завидовал Стрепетову. За то, что она смотрела, хотя никогда не видела, на него. Завидовал ей, всегда считая ей каждый ее прыжок, каждую вольно невольную позу, каждый подскок и излишний подъём ноги, изгиб, каждый мах повыше колен и взлет распорхавшихся крыл, каждый отступ и перебор. Считал и мерил и недомерял, с придирчиво мелкой ухмылкой на ежущих вкривь и в стороны нервных устах, с манерной рассадкой и расстановкой стоп, с загнутыми пальцами, перебиравшими счет, раскладывавшийся на то, что не надо было, не надлежало, не следовало и что им припомнить совместно потом, в каком-нибудь подвернувшемся временем месте.

“— Вадик, вы будете с булочкой или так?”

Бабушка и о нем заботилась, о Телепеневе, не обходя ни в чем и не исключая его. И даже когда приходилось давать из комода на форму манжеты и воротнички, казалось, и на него доставалось, на Телепенева, по белой тройной плакатке, двух укороченных и удлиненной одной, словно растянутой, с треугольными остротой отворотами и пупырышком шва у конца.

“— Светочка тоже будет?”

Поросычья в барашках мордочка довольно махала летавшими бантиками в ответ и хватала булочку, впрочем не ев ее, а только кроша, надувая все те же румяные щеки, жуя, и упрямою пуговкой нос подскакивал и почвиркивал на этом

барашке сиреневым в синем гаю соловьем, просясь подхватить на ладошке и чмокнуть, сдунув будто пушистого одуванка пук.

А Телепенев, тот даже булочку просто не ел, отщипывая, в ноготь большого пальца размером, букашки-щипки и отправляя их кусочками в рот, не пережевывая, а разминая там, тройным кольцом с языком и губами для этого приоткрывавшийся и на лопатку щитка в очередности принимавший, зажимая где-то в защёчной затем нутри, как будто был без зубов, как будто зубы совсем были ему не нужны, как будто сжатие и прижимание само по себе составляло достаточный акт, не требующий ни развития, ни продолжения, как будто кого-то при этом давил.

Он во всем был такой. Вялый и равнодушный, как будто сонный. Безразличный по видимости и всем, казалось, довольствующийся. Ничего такого не требующий, никакой особенной исключительности, но всё замечающий и метко цепляющий каждый пронос, если что-то шло мимо и не на него, если давалось кому другому. Даже когда играли в футбол или на речку шли чередой, он упрямо стоял, молчал, делался вид, что стоял, казалось всем, что стоял, и бычился, и надувался, и умственно что-то свое считал, не проговаривая, не выговаривая, не посвящая, не выдавая вслух, никого из присутствующих, в мелочные свои расчеты, но жал и месил внутри назревающие обиды, специально для этого подцепляя каждого словно на удочку серых глаз – слишком большую веселость за его, Телепенева, счет, пока и когда он не может, слишком высокий прыжок, слишком сильный удар, даже слишком ровные ноги в точеных икрах обхвата ноги, даже какие-нибудь там не такие плавки и, разумеется, то, что в них, если бывало больше, чем у него, Телепенева. Можно было увидеть косой его этот, мерящий недовольный взгляд, хотя он скрывал его под надбровной дугой, гася выходявший сверк, никому никогда не показывал, сольериевские свои отравительские мечты, чужие слезы и нервно срывающийся шепот, шорох, шелест и опять глухой перешёпт, переходивший в тревожную коду и похоронно загробный, унывный, из глубины гнетущей идущий, переворачивающий, захлопывающий крышку и душу финал. Всех бы в округе

угобзать, ухоптать и все забрать – то ли мерещилось только, то ли желалось и строилось, но витала душная, давящая, бабьим платком по лицу запахивавшая, пересохлая стекшим ручьем мечта, и было действительно душно, захлебывалось при нем и не понималось никак, откуда вдруг среди буйства трав и начала светящего лета такое неотвратимо снующее, давящее ощущение темной, в косматых предзимних тучах грозы.

А какая была погода тогда. Какая весна и осень. Какие немотные, маотно нежащие прохладой ночи и вечера. Какие нити на паутинах, какие ветра. Какие раскатистые в клубах, сиреневые, присаженные шатры костра. Какие разбеги и продвиженья, когда в открытую глубину океана окна мордой пашется какой-то заоблачный, непонятливый перевёрт, когда приходят вот так и садятся, примяв полу пиджака, придвигаясь все ближе и ближе и спихивая на край, и ты падаешь, падаешь и летишь распростертой над берегом ладонью, передернутым за угол носовым платком, чайкой, подхваченной за крыло.

Не выносилось. Теперь уж не помнилось в своей полноте, остался только туманный взвив, кручение в талой воде.

Вадик клал ногу на ногу и, придвигаясь ближе, смотрел и не видел. Какие-то рвущиеся обрывки, которые трудно было собрать, какой-то скачками перепляс, будто на лодочке в парке, попавшей под брызжущую от фонтана струю.

Разложились на травке. Как две стрекозы, закинувши солнцу свои коленки, а Телепeneв сел рядом кургузо майским надутым жуком. Сидел, сверлил и смотрел и все видел. И ничто не уникло из-под насупых невидимо желтых его под навесом бровей.

“— Эй, Телепeneв, чего ты сегодня такой большой и серьезный, как дирижопль? – прозвенела она и зашлась, любя смеяться всегда только сама с собой. – И кто тебя, Телепeneв, такого выдумал?”

Не в отдалении сизобородая на веревке паслась коза, и хохотал над ней также лакомо падкий до молока ее козой. И были прохладные еще мухи. Садились, махая, на теплые плечи, ноги и рукава, как если б присаживались на театре туманно

шуршащие дамы в черно суровых, негнущихся шуршунах-кринолинах, заслушавшись музыки невидимых запахов никлых трав.

“— Ай, какая... — отмахивалась, — сколько их здесь, да какие толстые!

Как если бы кто-то опять и опять поддавливал на повисавшую сверху уду, используя мух, как наживку, вода по поверхности глазом покачивавшегося поплавка. Глаз опускался лениво и вяло, незаинтересованно и сквозя, словно по-бычьи и вопросительно мямля привычное свое му, и снова прятался за кустом не вышедшей из-под опеки небес зари, помрукивая где-то внутри, как приученный к воркотне движок, не понимая зачем и что, зная одно только как и в какой очередности надо.

“— Отгони, что ли, Вадик, или хотя бы ты, Телепенев...

И если б не это *хотя бы* с подставленным в пору вперед локтем, если б не эта девичье глупая, нерасчетливая поочередность, последовательность, сначала кому-то первому, тем самым лучшему, а за ним, как просто рядом сидящему и присутствующему, второму. Если б не это явное, то и все б еще ничего на какое-то время, хотя и оно б потом мерилось и просчитывалось, и определялось, что и как и кому, и почему не ему одному, а еще и другому. Но это потом, поначалу б, может, был даже взлет, встрепет крыл и подъем кормы дирижабля. Но тут уже был уже просто прямой, очевидный пронос, не ему, а другому. И никакого равенства, даже намек на равенство, а так следовало, так надлежало, так полагалось просто его иметь, так давалось, внушалось, преподносилось самой природой, с молоком матери, с нравоучением отца, всегда и везде говорилось, внушалось, пелось, что ты такой же, как все другие, не хуже других. Не хуже – и понималось, и имелось в виду, и означалось, что лучше, что первый, что впереди на кудрявом коне и бодущий всех лидер. Тут же всё на глазах нарушалось, ломалось, портилось, перечеркиваясь, перемахиваясь, одним только малым взмахом, почти невидимым в косточке девичьего, упрямо не признававшего телепеньева равенства, маргариново-сливочного плеча.

Мухи сгонялись с насиженных мест, одна по другой, с недопущением к не надлежащему месту новых. Обмахивались плеча и лодыжки подвертывавшейся ветлой, хихикали и смеялись. Телепеневу, безусловно, казалось, над ним, потому что друг к другу слишком уж приближались для этого, потому что виском задевались барашковые завивки, потому что уж и наклонялись, потому что рука с ветлой когда-то и приостанавливалась, не все ж взад-вперед вертеть, а этого было достаточно, этого было много, чтоб снова все вымерить и просчитать.

Думалось иногда, а зачем? Надо ли было все это? Не во имя чего, просто так, не подозревая и не имея глупого ничего в виду, дразнить и терзать обойденного человека? Что там копалось, что строилось и выращивалось в его мозгу? По какому краю ходячих самих в себе неизведанных бездн просто так прохаживалось, не отдавая себе отчета? Не дать ли бы было сразу ему всего, без необходимости тяжких с его стороны решений и перемен?

Вадик сидит, задумавшись, и ложечку теребит языком, и не находит, потому что не ищет в себе никакого ответа. Дни бегут за днями, за днями снова колышутся дни, качаются по ветру рыбы на своих сетевых стременах, подвешенные мутноватыми флагами на палках-хвостах. И не приходит, положительно ничего не приходит себя само разрешающего на ум. Только души верблюдов охочей чужой гонитвы плывут, невидимо прячась на облаках. Души верблюдов невинны, но кто на них всадники?

Если бы победить ни с того ни с сего в тараканьих бегах, если бы выдурить из-под моста кочевряжию серым бельмом Матрену, то-то бы была кода, то-то бы был финал! А так нет, так только подергивается устало в памяти веко крыла, так только где-то там шарится по закромам, авось что всплывет, и не находится, не всплывает.

Лист оборвался и замер, уплыв, не найти его теперь в глубине окна. Куда его, где он?

Чего не ожидал никто

“— И это вы говорите мне? Мне, который вывел вас, выволок в люди, а вы ему сопротивлялись? А вы только гадости могли говорить, шипя по углам и громко надсаживаясь по-за спиной, чтоб толком не знал и не видел никто? Что вы за люди, кто вас родил такими? Душить таких надо было своими руками, еще не родившихся и в колыбели! И что же вы думали, это все так пройдет? Это все мимо минуется, как соловей и лето? Нет, не на такого напали, не будет этого ничего, никогда не будет, пока я жив, пока во мне бьется мое неумемное сердце и душа жива!

Наступили серьезные, тяжкие времена. Сны приходили на длинных, как тонкие нити, дождях, повисали кудрявым шаром, никому не понятные, не обработанные, пугающие. Икалось, тревожилось, распекалось, и не было никаких просто сил отстоять себя и свое сиреневое во всех этих снах унижаемое достоинство. А ведь как вроде было бы хорошо, как сладостно, растянувшись на парусинах, парить незамеченным кроликом-куликом. Как показательно справедливо и как заслуженно умиленно. Но никто из стоящих, из поставленных выше, этого не хотел понять и поэтому не понимал.

Еще раз, в который уже, опускался, пузырясь, на дно своих новых встреч. Говорили про то и про это, отстаивали не существовавшие, потусторонние, очевидно, высокие мнения, но не хотелось верить и потому не могло.

“— Я выставлю вас всех на вид. Мне надоели ваши все эти ужасные и бесконечные карусели. В жизни не видел таких остолопов и разгильдяев.

Он бы и еще что-нибудь там сказал в понесшей его вперед на треножных конях ретирате, но не успел, хлопнула громко дверь, и слова оборвались, повисли на взмысленных стременах.

“— С какую новостью? С каким таким вихрым ветером позанесло? — с не всем понятной услужливостью, возможно, что издевательской даже, обратился вдруг Люморев к новопришедшему Комарову.

Тот насупился, осмотрелся, вынув расческу, примазал ею по голове, чиркнув, сдунул короткие частые зубья. Задумался. Забубенной славой, всегда в подернутых выше лодыжек штанах, Комаров говорил неохотно, медленно, едва выдавливая слова одно за другим, но его слушали, потому что в это время обычно ничто и никем ничего такого не делалось, чтобы мешать. Было желание и время послушать, как-то он так всегда приходил и случался впопад, подвертывался в самую пору и под руку. Не было б Комарова, трудно бы было жить. Вот и теперь, чем отдаваться ругательскому тону и иждивению Солодухина, лучше уж выслушать немутящую мяль. Все даже придвинулись, головы повернулись и оживились, глаза прикрылись и уши выставились, слегка напрягшись в расслабленном ожидании.

Если бы не касались темы, для всех болезненной, но толком и полностью не проговоренной, не определенной, если бы так себе молча где-нибудь, прикорнув, простоять, как на празднике какого-нибудь труда, если бы пропустить, как трамвай, не пошевелившись, чтоб выйти ему навстречу из остановки, так нет же, Солодухин внимания требует, и участия, и даже отклика, надо сказать что-нибудь, как-то выразиться, себя проявив, одним кивком не отделаться тут. Филиппову хорошо с Веселкиным, Филиппов сам себе голова, в изоляции, в отщепении, в изгнании, на отшибе, отпетый и на всё наплевательский, но избавленный необходимости постоянно кивать, и тут тебе Комаров, как билет, как спасительный свет и благодать, снизу-сверху, дающая, текущая, разливающаяся по жилам, течет струменной рекой, охватывая за горло и нервно-весело щекоча в междурёбр...

“— А что, не поставить ли чай-самовар в междувременьи ожидающим господам? — усатый мальчик-денщик заглянул во всеобщий покой, помахав сапогом в рукаве красной свитки. Солодухин по временам и для представления пушей важности, если кто из желаемых к облапошенью приходил, корчил из себя добродушного казака-генерала, блюдущего всяческую традицию, достоинство и прежнюю распрекрасную честь.

“— И то! — по обычаю гаркнуло хором несколько молодеческих натренированных голосов, изображавших охочесть

до девок и чаю, но оказались не к месту, поскольку никто их не поддержал, не было для кого выставляться, время еще не пришло, к тому же настроились выслушать Комарова.

А Комаров всё молчал, надутый в какой-то кувшин, не собравшись, не распендючившись.

Перед этим стояли по-настоящему и серьезные, и тревожные дни. Что-то деялось, что-то нагромождалось, что-то должно было, лопнув, произойти, но не произошло как всегда, не лопнуло, а подразнилось только. И вот теперь бы, расслабившись, как раз и послушать для переключения Комарова, но он молчит, ничего не выдавит из себя. Он весь насупившийся, намеренный и готовящийся, но окончательно не решившийся, как ему быть. А время идет, и уже начинает терпение пропадать, и уже появляются непреодолимые, потягивающиеся желания у наиболее решительных и нетерпеливых события подождать, подтолкнуть по потылице Комарова, чтоб вытолкнул из себя, наконец, с чем пришел, на что завязывается там их окружающее ничто, чего ждать, а чего не ждать, к чему быть готовым.

“— А Зинаида опять проспала, не пришла, а ведь как обещалась. Я вот ей и мешок приготовил с мусором выносить, — опять заглянул денщик и бесцеремонно выпалил Солодухину свое привычное, наболевшее.

“— С мусором после, — пробуркнули нетерпеливо в ответ, ожидая все же, что скажется, потому что уже глаза комаровские зашевелились проснувшимися шмелями в своих щелях, обозначивши признаки отторжения. Мысль какая-то ворошилась и силилась выйти, ища проход.

“— Филиппов записки не передавал, ничего не хотел, не потребовал. Веселкина, прямо при мне сказал, пускай холера возьмет, я его знать не хочу даже после того, что было...

“— Да как же так? А как же с выкупом? Как же выкуп? Вот именно выкуп? А выкуп? Выкуп? — слышались голоса, — А мы на него порассчитывали, а он, значит, вот как? А нам как раз время налог платить? Что будем делать, кого теперь красть? Солодухин во всем виноват, он велел того красть, а мы на него порассчитывали? Ночью, как дураки, по полям-пустырям

шакалами лазали? Люморев во всем виноват, всех втравил, хвост впереди других распушил и заставил! Нечего было слушать, я говорил...

Веселье было погано прервано, рассказа на ночь не получилось, и даже если бы Комаров сейчас объявил, что это была только шутка, невинный комический юмор, смех, то и то, нелегко бы было сойти с этой новой минорной ноты, потому что предчувствовалось, казалось, что не все так легко и просто сойдет, что что-то должно же было бы стать на пути, не бывает, чтоб было гладко.

Комаров-таки сразу почти и сказал, что ничего того не было и что Филиппов, придушенный наущением и неприятностью знания о покинутом рае, о пересиживавшем Веселкине, просто не мог собраться и не успевал ничего сказать, тормозя, задыхаясь и переживая в своем саду на веранде клумб, но его и слушали и не слушали, перейдя внутри какой-то захламленный Рубикон и не желая теперь расстаться с меланхолическим камертоном. Солодухин к тому же злобно-насупленно подмигнул перед тем Комарову, давая понять, что если он не смолчит, не переменит немедленно общий тон, всем будет тошно среди стоящих, и в ту же минуту, и больше всех ему самому, Комарову, которому вроде бы нечего было терять и который мог преспокойно себе изгаляться над солодухинскими стараниями и люморевскими спасительными беседами в лунную ночь, но это только так кажется, что он такой и что нет человека, которому ничем нельзя навредить, которому нечего вроде как и терять, а всегда найдется и что, и за что, и с чьей такой интригованной помощью, и с какой такой стороны, потому Комаров, пускай хотя ничего не подумал, не было думать о чем, да и не очень привык, но на всякое там про всякое пусть смолчит, прикусив раззвонивший язык, пропустивший приличного лишку. А вдруг? Желающий повредить, всегда, если хочет найти, то найдет, и за что, и каким таким хитрым бесом и образом. Тем более что в последние два-три дня Комаров навещал потаенно какие-то хитросплетенные не объявляющиеся собрания под именем Лабуды, а кто знал? А там не для всякого слуху деялось, и было тепло и радостно на душе, и

даже крылья вставали, и даже выросло что, чего никогда ни до, ни после б не пережил, не придя туда и не просияв тем сеянным светом. Этого Комаров должен бояться утратить, вдруг доведаются, вдруг этот дошлый Люморев, без ножа в душу влезет, и там узнает, и растревожит, и отпугнет, а то еще смеяться начнет, усомнив и значительно поколебав тот вроде бы неколебимый столп, а то еще выдадут вдруг властям, да придут их всех и порастасуют, а то еще за соблазн захотят притянуть, и притянут, было бы только кого.

Потому Комаров засопел, нахмурился и громко, деланно как-то сказал, чтоб все слышали:

“— Филиппов сидел у окошка, пил чай и молчал. Ничего не сказал про Веселкина, я его даже не видел с ним. Вы думаете, они там только этим и занимаются, а ничего подобного, у Филиппова все, как у всех, даже булки с изюмом не розовым маслом намазываются и полы не скрипят. На деревьях я, правда, там белку видел, но это, может быть, она просто так забрела, а так в основном ничего, все как есть, все по-прежнему и все как было. Что же до выкупа, то это вполне еще может выгореть, Филиппов подумает, посидит, ворохнется в нем человеческое, время придет – и глядишь, и что скажет, не чуждо оно ему, подождать только надо, терпения набраться и подождать, с каждым надо быть терпеливым и возможность давать проявить себя с лучшей, с товарищеской, с понимающей и сочувствующей стороны. Так что ничего, я так думаю, не потеряно, нечего было еще терять, все впереди и на белом коне в развевающемся халате и с саблей. Солодухину нашему крикнем громкое хором ура и поскачем за ним с заголенными шашками. Только Маланью мою, чур, не трогать, Маланья моя не для всех, чужим и с грязными лапами не дается Маланья. Когда уже отряснетесь, когда опашетесь от мути жнивья, тогда придете, чистые, и, может, дастся, кошки не любят неупорядоченных, суетных и вездесущих.

“— Лё-лё, Комаров, ишь как тебя развезло сегодня, куда занесло! Во-первых, Филиппов чаю не пьет, никто не видел Филиппова с чаем. А во-вторых, Веселкин сидит у нас второй день, и о чем тогда говорить? Какие такие занятия музыкой?

Совершенно пустое дело и нечего ждать. На Филиппова надо давить, Филиппова надо прижать, а давать возможности ему бесполезно, столько уже давали ему возможностей, и ничего, никогда из его возможностей толку не выходило. Ты его плохо знаешь, Филиппова, так что еще не спеши с Солодухиным на белом коне, еще поработать как следует надо и на Солодухина, и на коня его, и на твою голую шашку.

Распахнулась дверь, и вошел Филиппов. Сначала открылись рты, а потом закрылись. Сцена была нелепо-дурацкая, деревенски-комическая, в самом дешевом стиле.

“— И что вы на это? — Филиппов демонстративно раскрыл полу пиджака, отвернув указательным пальцем пуговицу. — Я к вам пришел, хотя вы меня и не звали, и я готов.

“— К чему ты готов, Филиппов?

Собственно ни к чему он не был готов, это только так говорилось, чтоб всех подразнить, чтоб показать, кто тут главный и кто над кем. Можно бы было подумать, что демонстрацией, своим дерзким жестом Филиппов на что-то рассчитывал, скажем, подмять, повалить Солодухина, показать свою мощь, заставив перемениться всех, перекинуться, перейти на его, Филиппова, сторону. Но так можно было только подумать, ничего такого в действительности не было и не могло бы быть, просто Филиппов любил позволять себе жесты, на следующий же день, а иногда через два, позабывая об этом, о том, что было и что случилось с ним перед тем. Однако жест был сделан и впечатление произведено. Чтобы как-то его измять, произведенное это Филипповым впечатление, надо было вытворить что-то в ответ, какую-то уж совсем несусветь, стать на голову, пройтись на руках, прокричать диким голосом, взблеять, заговорить...

“— Ну что ж, и бери его, что ли, этого своего Веселкина, прямо тут при всех и бери, забирай, скачи с ним вьючным верблюдом, никто тебе запретить не может, только долги отдай, — закричал вдруг Люморев, приходя на помощь к своему Солодухину, демонстративно протягивая мохнатую руку в толстых, всем показалось, перстнях, хотя ничего того не было, действительно показалось.

“— Долги? – протянул удивленно Филиппов? – Какие такие долги? Кому? Нет никаких долгов?”

Кто бы подумал? Такой разворот! Этого вправду не ожидал никто...

Съели замазку

Уключины мелко-мелко ходили в гнездах своих и шарпались от отчаяния ключья дерев, провожая плывущих мимо. То был Люморев с Мишей Веселкиным на борту, скравший его, туго-плотно обернутого, пока тот спал в своем гамаке. Не двигался, не шевелился, будучи коконом свит теперь. Во рту было гадко намазано каким-то техническим плохо очищенным средством, чуялся бензойно его красильный вкус. Что-то там впопыхах перепутано и не то засунуто за торчавший кляп, и вот теперь приходилось чують последствия той перепутанной спешки. Лежалось совсем неудобно – мокро, тревожно и беспокойно, к тому же давило в бок. Люморев не позаботился ни о чем таком, ему было спешно, хватно и лишь бы как, он никогда ни о чем таком не заботился, лишь бы только добить своего, лишь по-своему только сделать, лишь бы всех обойти, надуть...

Филиппова как всегда обманули, чтоб не хорохорился и не выставлялся. Конечно, Люморев обманул, кто еще? И теперь вот они плывут, торопятся, чтоб поскорей, чтоб никто не успел хватиться и догадаться, кто такой и зачем украл.

А ведь было бы как уже хорошо. Уже ведь и складывалось, начинало складываться, если б не он. В открытую тишину повыставили поднос с пирогом и биноклем, и чай готовился денщиком. Пирог, чтобы есть, бинокль, чтоб смотреть за обществом. Обществу доверять, но смотри, каждому нужен глаз, Солодухин знал, был воспитан в обществе, нормы общества с детства в себя впитал. И хотя Филиппов, конечно, не ожидаемый генерал, чтобы чаем поить, далеко ему до генерала, но раз уж решили отметить победу, то как уж тут обойтись, пропустить, не отметить. И случай представился, и пить хотелось. И вот хотя и

чай был почти уже приготовлен, и готовился, чтоб внести, и пирог на столе в подносе, и бинокль в наблюдение выставлен, а все-таки не уследили, не усмотрели, дали маху и пустили. Не предвидели? Или сделали вид? Разыграли, что не предвидели? Непредвиденное, оно как ложь, ведь на тонких ногах... Как бы там ни было, было ли все распланировано и только сыграно, или импровизировалось на ходу, и Люморев был основной зачинщик и он же ответственное лицо. Как бы там ни было, снова надо сказать, но только празднования победы не получилось. Нечего было праздновать, хотя со всей очевидностью, все же победа была, но, как всегда, украли победу, украли ее у самих себя, самих себя, как всегда, обманув или только сделав вид, что себя обманули, а обманули только общество рядом и вокруг стоящих, а сами у них же, обманутых этих, выиграли, точнее вырвали надлежавшее всем, то, чем приходилось бы, надо бы было делиться, а так не надо, потому что все кругом оказались обманутые и вновь не при чем. Знали они или не знали, что все это было снова за их спиной? Или снова был тот же розыгрыш, а стоявшие в окружении и в присутствии, как немые свидетели, должны были подтвердить, раскрыв рот, что и их обманули?

А как ведь складывалось хорошо, уже и Филиппова вдруг самым что ни на есть неожиданным образом удавалось прижать и за долги притянуть. Несуществующие, мифические долги. И вот теперь он, опять и снова, с крючка сорвался, и все потому, что Люмореву пришлось не вовремя в голову себя опять показать. Один на один, как Давид с Голиафом, он вышел навстречу своей судьбе в лице упрятого в чулане Веселкина, положенного связанным в гамаке, которого надо было, предстояло отдать после объявленных к неуплате долгов, и вновь победил, и всех обошел, тем самым, поскольку теперь ни о каких долгах и предполагаемо намечавшейся их уплате не могло быть и речи, пока не будут достигнуты беглецы, и Миша, связанный и запакованный, не вернется на место.

В погоню кинулись погонять, но не догнали и не могли догнать, потому что бежали берегом, а Люморев плыл рекой, потому кричали и хлопали, вроде как чтоб пугать и в защите от

комаров, а на деле, возможно, чтоб предупредить его о своем приближении и месте бега.

В общем не так все было и просто, даже скорее, напротив, путано, несправедливо, неясно, туманно. Сердце бешено билось в азарте охоты и риска, но не вело ни к чему, след обрывался и пропадал, достижения не предвиделось, хотя Люморева легко могли бы настичь и заметить, если бы захотели, если бы ближе подвинулись и заглянули, если бы дали себе труда. Но никто из бегущих труда себе не давал.

И ведь вот так каждый раз теряются и достижения, и возможности, по одной только чьей-нибудь самовыпячивающейся простоте. Хочется вылезти наперед, чтоб все видели, чтобы подумали, надо ж какой герой, чтобы только свое наметившееся желание осуществить, и тут уж не до меркантилизма, в тартарары все лети и пропадай в отчаяньи, оттого что кому-нибудь одному, непонятно вдруг из каких причин, захочется быть на виду и выставиться, захочется быть уважаемо признанным и сразу почтенным, чтоб шапки ломали и, ставши в струнку, могли и честь и себя заодно отдать.

Было ли это мотивом? А может быть, сговор? Может быть, уговорились, спелись, стакались, и плевать им на деньги, денег у них может быть тьма и в любую минуту, потрясти только вовремя кого-нибудь за мошну, поприжать и выдавить, и на свое этим самым выйти? Главное тут даже не широта души, и не поиски долга, а воля. Главное воля – быть и уметь в любую минуту кого и кем хочешь.

Люморев плыл, подгоняемый криками, каким-то ваваканьем за бугром, он их видел, они не видели, и потому спешил, потому, опуская весла, приналегал, приученный к быстрому пению, и снова, высвобождаясь, приналегал, и опять, и так, как качающийся паяц на веревке, за нитки дергаемый, скользил и сквозил по прозрачной струе, как быстрый заяц по полю, как водомер, не оставляя следов, не слыша, не видя себя, не замеченный, татью крадучись и не дыша.

Обойдется, думалось, ох, обойдется, Солодухина с ними нет, в доме своем сидит Солодухин, сидит и с балкона в бинокль

смотрит, все видит, видит, как он плывет, видит, как рожью шуршат и катаются горки и бугорки воды, как незамеченный сзади поостается след, как он старается, как потом сзади покрылась уже спина, как мокрые волосы спереди пали на лоб, оставив парящей испариной росной влаги незабываемый сзади след, как те же горки опять же и бугорки вздуваются мышцами круто работающих рук и плеч и как рукоплечий поэтому вырастает из Голиафа Давид, побеждая свое в себе слабое человеческое, одолевая свое прямое и прямодушное в самом в себе – одно было сказал и сделал, другое стало сделал и не сказал, а скрыл, спрятал, ухоптал вниз и свез на своих плечах, положив, покидав на лодку и в лодке той нагруженной чужим отчаяньем сплыл.

Слепой был его отец, Филиппова, видно теперь, что слепой, не внушил ему мысли о хитростях света и преставления, ничего ему не сказал. Готов был отдаться на ласку всем мудростям и испытаниям и поверить всему, готов был на все, только бы не удивиться, только бы не увидеть действительной недействительности неистинного положения вещей.

А как все это само получалось, как вдруг, как легко. Как шло как по маслу. Как поверил, нет, не поверил, вынужден был поверить и согласиться, что да, так и есть, что когда-то, в каком-то неведомом прошлом был должен, и готов был вернуть, и отдать, чтоб только добить свое, чтоб только бы выторговать, то, с чем и зачем пришел, и вот теперь, так же вдруг сразу и так же легко, получил по носу. И от кого, от похитившего вдруг снова Люморева, от выхватившего лисой у него из-под носа положенного Веселкина, за которым пришел. И теперь он его не отдаст, ни за что теперь Филиппов его не получит, не видать ему его как своих ушей.

И все плыл и плыл в своей тайно скрываемой надежде Люморев, разворачивая крутые, растущие из-под широких евро-азиатских скул плеча. И воздух, взлетая в широкую не менее его грудь, раздувал, надувал ее, будто щеки, парусом, и летел атаманий разбойный свист далеко бичом, подальше, над мятущимся в задремавшем неводе безалаберным белозерным прудом, будто

вспугнутый птицей, порхнувшей из-под приподнятой, поднесенной к брови руки, будто сокол, дернувшись, полетя, поскребя, отскребя когтем от скрипущей кожаном рукавицы шмат, невидимый глазу шмат отскочившей вставшим комочком земной пыли. Люморев чувствовал себя, весь в поту, и героем, и генералом, и все ему удавалось, и все шло ему в руки, и все легко сходило с руки, и все было по мысли и на раздух. Как легко, оказалось, можно было всего своего достичь, на своем настоять и на этом своем поставить, стоило только руку длиннее вытянуть, стоило за этим своим как следует, приподнявшись на цыпочки, потянуться, и нет запретов, и никто тебе не претит, и нет ничего на преграду, и никакого препятствия нет.

А они уже наверху не кричали, не гомонили, а, беседуя, тихо шли, процессией, чинно, важно, объясняя и разъясняя толковым толком случившееся и имевшее быть. Потому что Люморев всегда такой, два с половиной в нем, потому что никто не ведает, не догадывает с ним, что когда. То вдруг вскочит и побежит, то накричит на всех, пух и перья летят и всем дурно и тошно, а то тихо сидит и свое себе наблюдает и также тихо блюдет, и никому не ведомо, никому невдомек, что варится в нем, и что выскочит, и в какую такую предвиденную минуту. Филиппова надо было как-то ухоптать, угомонить, обломать, умять. И ухоптывали, и уминали.

Повисла вдали луна. Поля опять вдали покрылись ее серебром. Опять замелькали вдали огоньками железные волки. Слышалось их вдали рокотание и шум и шелест близких раки, вот здесь, за этим бугром, где, возможно, только что проплывал, скрываясь, Люморев, где выдра нору себе то ли выкопала, то ли, расширив нашла, и рыбу ловит, и носит, сыпля торенную дорожку лунно-серебряной ее чешуей.

Что сказать тебе на это, Филиппов? Что надо беречь добро? Что птицы странствий и птицы немочи прилетают хватать чужое и действуют нагло и заодно? Что жизнь, она такая односторонняя штука, одному одно, а другому ноль? Что не ухватишься, не угобзаешь, и пропадешь, поминай как звали, тебя и со всем твоим добытjem?

Филиппов шел в плаще, как в развевающейся по ветру шали, как смутная баба на похоронах. Трепали невидимыми бабочками – трепетливыми листьями какие-то темно-неясные воспоминания-тени, какие-то шевелящиеся промои чего-то где-то мелькавшего, приоткрывавшегося и не открывшегося никак. Плевались капли вечерне-ночной росы, не омывшись, не пробудившись как следует от надвигавшего сна, словно забывшись, кто они, словно, пришедши, припав не туда. Было бы нежно и мягко-ласково, и воздух был даже свеж, если б не эта необходимость следить и идти. И что, собственно, надо бы было ловить? День вчерашний как день сегодняшней, нет границ дня...

Раздался стукот, словно упала луна, словно кто-то завистный насильно схватил и дернул, чтоб вызвать неловкость и замешательство, чтоб всем кругом досадить. Стали. Дальше некуда было идти. Дальше решетчатый шел забор и пружинистой, не пропускающей сеткой скакал под ногой укос. По нему, как по ниточке, будто выстроенные и выставленные в рядок один к одному, шли колышущиеся травинки, будто сеянные в нарочную бисеринку полоумные семена.

“— Видите, все против нас и против него, сама природа не хочет нас пропустить. Дальше никак нельзя, дальше вон видите, куда только хватает глаз, запрет на вхождение, туда нельзя. — Руки вытянулись показывать и показали на самом торчащем верху, так, чтобы видно было, мохом обросший в темной темноте, повороченный полубоком щит, с расписанием, что именно и в каком порядке отныне запрещено. Филиппов из долгого этого списка в начале и в конце разобрал, что нельзя заходить и что окурки нельзя гасить.

“— Вот и вот, вот и все, вот и дальше теперь никуда, вот и дошли, и добегались. А ведь как было хорошо, как складно, как уже договаривались, и Солодухин смягчился, и было так благодушно, и к миру шло, и вот надо же, чтобы так вдруг стрелой, и чтоб здесь оказаться в ночную пору, в заведенном запретном месте. Страх берет, как подумаешь, сколько здесь утонуло, сколько здесь было жертв, сколько бы их еще могло быть, если б не этот щит, а ведь такое может с каждым случиться,

никто ведь не застрахован ни от пожара, ни от несчастного случая на воде, в пруду, когда почва плывет и уходит у вас под ногами. С вами что, не бывало, разве такого, Филиппов?

“— С Филипповым не бывало!

“— А ты помолчи за Филиппова, за других не расписывайся, не распирайся, пусть сам он скажет, Филиппов, язык у каждого есть.

“— Со мной не бывало, — мрачно сказал, подтвердив предыдущую мысль, Филиппов и углубился в себя, подумав о чем-то непреходящем своем.

“— Когда уходит и когда приходит откуда-то кто-то и в мир иной, не бывало разве? С каждым такое бывало, должно было непременно быть. — И переключившись на посторонние мысли, поехали, понесли, упустив что-то важное, что-то большое, готовящееся, какой-то серьезный крутой разворот-рывок, когда еще можно было свернуть куда-то, чего-то добиться, выкрутив и крутанув, от жизни и от Филиппова, от всей этой меледы, а потом уже было поздно, пропущенно и невозможно было никак возвращаться. Так забалтываются, закручиваются, замешиваются самые что ни на есть высокие и полетные цели, и мысли, и телеса.

“— Ага, — зевнулось, — а не пора ли, что ли, домой? Уже спать?

“— А как же Люморев?

“— А Люморев сам поплавает себе и вернется, чего за ним бегать-искать? — выдалось все как есть на духу, чтобы только охмурить внимание и бдение Филиппова и его вместе с тем усыпить. Филиппов сначала им не поверил, Филиппов не доверял, но что ему одному оставалось делать? Стоя здесь на бугру со щитом?

Конечно, не верилось, что он приплывет не сам, конечно, не предполагалось, что бросит где-нибудь по дороге или утопит Мишу, но кто его толком знает, кто может за этого Люморева ручаться, если он сам не знает, какой будет план? Что может взбрести и в какой момент в эту голову, в этот необыкновенный ум?

“— Ну что? Или дальше будет стоять? Ноги мерзнут.

“— Ничего-ничего, вы еще не пожалеете, вы потом хорошо поймете и даже оцените, что так было хорошо, что так было надо, что все, что ни есть, все к лучшему, если есть.

Луна засветила с новою силой, будто махнувши крылом, будто бухнувши чем-то с размаху, что-то под нею на небе расчистилось, распрямилось, выпросталось, вышло на белый свет. Кругом было тихо-тихо, собаки не взвыли, не шаркнули под ногами сухие ветки, не мельтешили во тьме фонари, когда они возвратились, пришли и сели, и вытянулись на креслах и стульях своих, а все оказалось съедено, и нечего было есть – то ли обман, то ли марево-наваждение, то ли было задумано так...

Срыв

“— Я не хочу тут сидеть. Мне претит! Сидеть тут, находится с вами, выслушивать вас!

“— А что, можно подумать, что кто-нибудь держит? – с философским спокойствием сказал Солодухин, вытянув руку и отщипнув тонким пальцем кусочек вареной моркови, лежавшей на блюдечке перед ним. – Нет бы так как-нибудь мирно-культурно собраться и мирно-культурно поговорить, а то сразу же начинать кричать, из себя выпрыгивать, как будто жизнь не мимо проходит. И как потом не начнешь сожалеть обо всех этих взаимных обидах, и неприятностях, и оскорблениях? Мало того что сверху давят и негодяи сидят, так еще и сами себе настроения портить? Человек сам себе первый враг, сам себе первый подлец, негодяй и мерзавец, я это всегда говорю, никому как себе доставляем мы только одни неприятности и заботы, — и Солодухин медленно развалился на стуле, важно закинув за ногу ногой, как будто складывал только что им прочитанный документ. Потеребил кончиком ногтя доставшийся выщипнутый кусочек, счищая что-то налипшее и не понравившееся, и лениво и нехотя, едва-едва прикасаясь губами и языком, запустил его себе в рот, зажевав.

“— Сидели бы молча дома, так вот ведь приходите, зачем-то ведь сами пришли, значит что-то вам надо? Значит чем-то не удовлетворяет вас молча сидящая в одиночестве жизнь? Нуждаетесь, значит, в обществе, хотя и гнушаетесь им? Одиночество надоедает, одиночеством тяготитесь, это понятно, это разумно и объяснимо, в этом что-то мистически-необъяснимое есть, тайна какая-то, неуловимый смысл. Природа не терпит пустоты, это вполне очевидно. Нет ничего ужаснее, неприятнее и глупее вечного ничегонеделания наедине и перед самим собой.

Скрипнули стулья под заерзавшими задами, то ли не согласились, то ли, напротив, решительно согласились все, было трудно, было почти невозможно понять, потому что никто Солодухину, кроме Люморева, прямо не возражал, а того в это время не было с ними, тот в это время плавал, да и если и возражал, то больше для видимости, для тренировки и показного вида, чем сам от себя, потому что считал, что так надо. Люморев, впрочем, никогда ничего не считал, только делал то, что было задумано, то, что следовало и что давало пользу. Теперь вот пользу давало плыть, чтоб не выпустить инициативы, чтоб было можно только всегда и над всеми стоять, и руководить, чтоб только царствовать. Потому что так важно себя ощущать над всеми, стоять и плевать и, если надо, махать руками, никто ведь не скажет, что так нельзя, не посмеет никак сказать.

Раскрылись тучи туманящегося дождя, кто-то там замелькал в облаках, навесившихся и помутившихся, пришедших, принесших с собою темно-тревожный, курчавый дождь.

Припоминалось давнее, старые неуловимые связи, вот так сейчас и повисшие на вытянувшихся водяных стременах. В Мише что-то вздымалось и опускалось вместе с ходившей грудью под завязанным плотно узлом, какие-то тонкие нити обрывков, какие-то прежние времена, мокло и прело что-то внизу и внутри, подмокало, подвяливало, гудя, открывались и закрывались клапаны, пропускавшие, тлевшие, не отошедшие, недооформленные где-то внутри идеи и мысли и что-то еще, простое, легкое, полное, плотное, будто шар, вылетающий и

поднимавшийся в воздух, несмотря на окружавшие небо тучи, несмотря ни на что, что было важно, что было упущено и где-то сдавленно пробивалось только и не моглось.

Стрекотали сороки в углах зари. Парк отходил на второй покой, рассыпаясь невидимой краской неощущаемо тихой радости и пересидения немого стыда. Легко было так же, как и сейчас, полно и плотно, и ноги сами, бежавши, несли, поднимали на медленный верх, на бугор аллеи. Вдоль стремившейся вверх и стремившей ноги тропинки росли физалисы, стояли столбами флоксы и высились буки и тополя. Прыгали под ногами картонки нежно убитой, припаянной к месту, придавленной перед тем земли, шебуршело в листьях, чивикало, не торопилось, не достигало ушей, минуя, обхаживая, обваливаясь, за край заходя, и падало тонкой, бисером сыпанной, каплей на шелупонь разбросанной вокруг лузги. Семена не выросли еще, брошенные им в прошлонедельный раз, и сыпавший нежный дождь только должен был возбудить, всшевелить их к жизни, для того он пришел и пал на взопревший грунт.

Воткнули палку, чтоб сделать навес, чтоб распространить над собой хоть какую-то крышу, чтоб, может быть, никто их с дороги мимо ходящий не мог замечать. Снова достали чайник и сухари. Согрели воду на керосине, но вылили: пахла и плавали всплывшие тления прошлых лет, обратившиеся в бахромистое, пошевеливающееся тряпье, в пушисто подергивающиеся от колебаний осадки. Было обидно-горько, не так ожидалось, не то, ничего не стремилось исправить ведомую обстановку, акценты расставлялись не так, ничего не использовалось из предполагавшегося, как-то все проходило, не замечаясь и даже не произносясь. То ли были вдвоем, то ли было их трое. То ли вечер пришел, то ли небо захламленно вновь затуманилось, не желая мимо себя пропустить никакого дыхания верхнего света. Не было розово на душе, было душно, пустынно, словно в жаре пришли и раскинулись, расположились своим караваном, поставив верблюдов где-то вокруг поперек, пораскинув шатрами палатки, вынув-выкинув сухофрукты и мармелад на подносы из серебристых блях и выставив длинные колом палки.

“— Что вы там говорили? С кем разговаривали? Сами с собой? Какое такое препятствие может быть и в чем? Какое непреодоление? Я не знаю препятствий и непобед, мне неведом звук поражений, я сам себе голова, мне никто не указ, на меня нет управы, я сам себе вечная истина, и ничто, и слава!

“— А вы, Филиппов, умеете на ходулях ходить? Это также должно быть невразумительно и неприлично, как на велосипеде ездить, особенно на одном колесе?

“— Разве Филиппов клоун? Осталось ему про бабушку рассказать, про бабушку гниды Стрепетова, а что, собственно, за мысль, промелькнувши, была?

На полянке было уютно и хорошо. На полянке в вазонах поставили фиги и фрукты и вынули бутерброды из сумки, по краю расклав, по всему периметру, так чтобы было красиво смотреть и поместилось все, и чтобы некуда было ногой наступить, потому что если края бутербродами огородить, то никто не рискнет, не посмеет вовнутрь шагнуть, ступить, не задумавшись, что же выйдет, что если придется в него это сделать, что если придется его раздавить? Это было, тем самым, гарантия безопасности, невозможность заинтересованности и нарушения переходом границ.

И так всегда должно было быть, и Солодухин, и все другие, все досконально знали это, хотя не догадывались бы ни о чем таком, ничего бы такого себе не желали. Между тем в бассейне в саду бы плавали золотые рыбки и никто бы их не травил, потому что в беседке возле разыгрывались вечерами драмы известной любви и пелись романсы под бренькающую гитару, и сыпались грозди монет, так чтобы дети потом, хотя, впрочем, откуда дети, чьи дети? но все же, пусть дети, мальчишки всё в основном, приходили и прибежали и прыгали под бассейн, чтобы достать, собрать, повыкидывать изнутри воды все монеты, они не любят, мальчишки, когда вот так под водой монеты себе тихо-молча на дне лежат, нет, надо прийти, и повытягивать, повытряхивать, повывернуть их наизнанку, чтоб не лежали, не красили дно воды, чтоб золотые рыбки, плавающие в пруду, не могли ими никак любоваться и наблюдать игру падающих света и

тени и краски, забытые краски лопочущих струй, голубую и светло-зеленую, едва видимую, едва различимую на просвет, так что почти со дна и не замечаемую даже, и надо тихо плыть и наклониться к самому низу края, чтоб только увидеть, чтоб наблюдать... Нет, не дается никак поймать золотую рыбку в зелено-паклевый тростяной садок на воде.

И что тот Миша мог себе пожелать, о чем мечтал, привязанный к лодке? Люморев наклонялся, блестя плечом, по запястьям и пальцам монистом посверкивала, блистала луна, отбивая неслышную дробь на косточках и перевязках, на щелочках пляшуще-улыбающихся морщин тыльной части ладони руки, на росных каплях подвыступившей, вылезшей на поверхность кожи воды, на бегущих невыбритой шерстью волосяных покровах от пясти до локтя, казавшихся преувеличенно страшными, пучащимися щетинами насекомых хитинкового, прозрачно-дымящегося подбородка жнивья, будто ходили долго и будто спалили траву и деревья вокруг, будто голые палки черных остей оставались только, как бы нарочно показывая, что же было и что должно было быть перед тем.

Люморев наклонялся и Люморев хищно склабился, кажа щерые зубы в ночной своей пролетный оскал. По вечерам и ночью он особенно мог бывать неожиданно грозен, как молния в хмурой осени набрякших в окно небес. Наклонялся и щерился, будто желая съесть, будто пугая дошкольного Мишу сказками про Настасью и королевичну, и красную шапочку в одиноком бору. Бабушка далеко, бабушка не услышит, а нам хорошо и тихо вдвоем, тебе на своем подмокающем снизу помосте, а мне молодецки крутя веслом.

“— А что вот, лежишь-молчишь? Нечего будет сказать, как бросят тебя монетой на дно реки, как рыбы начнут клевать? И никто тебе не поможет! Ни Филиппов, ни Солодухин, продавшийся за чужие долги, будто долги важнее от прохиндеи и принципа. Я вот всему теперь голова, захочу сожру, захочу рыбам кину, захочу с маслом съем. — И показалось, что выросли длинные уши и закурчавились вдруг, завились, закрутились, как будто бумажные серпентины, будто съел от запретного плода, от

смоквы, с куском волос закусив и не выплюнув, не поперхнувшись даже, и вот торчал теперь вдруг из воды этот клок. Миша приглядывался в блеске глаз света и теней, присматривался, вперед наклонялся, но так и не мог понять настояще, есть ли там у угла губы, у рта, повисают ли ногами вперед торчащие зацепившиеся, не проглоченные, мохнатые, дикие волоса? Не мог понять, совсем ли, одичав, озверел оборотник Люморев или еще не совсем, или еще оставалось в нем что-то не до конца в себе выяснённое, что-то блудившее невпопад, что-то сопротивлявшееся и себя еще не сказавшее, что-то бунтующе непростое, какая-то невыразимая сложность и грусть? Не мог понять, как ни силился, и тут на память пришел какой-то стишок *Голова к голове, будет две... Посчитаем еще раз, так? Одна голова не две, а две головы не пустяк!* Странно, подумалось вдруг тогда, ведь вместе, в общей лодке плывем и общий ветер нас овеивает, и общие воды кругом и рядом плывут, и небо общее над его и моей головой, и общая светит над нами луна, а что-то нас делит, что-то неразлично дает почувствовать, что ничего такого общего в общем-то и нет, только так кажется, что мы вместе, на самом деле в отдельности, как на лавке две разделенные грубой топорной широкой щелью, прибитые, пригвожденные каждый к своему надлежащему тыльному месту, доски. И воздух, караванным летучий движущийся верблюдом и дирижаблем, не каждому одинаково дышится в его нос, и даже нос у каждого не одинаков и на другой не похож. Тогда что же нас все-таки объединяет – место? доска? поюще-плящущая листва? громада плетущихся по верху паутин дождя? плывущих, не останавливающихся и зацепляющих нос, и щеки, и борт, и затекающих, мокро плетясь, под ворот?

— Спишь, что ли, дурацкий дурной философ? Не спи, я спою тебе песенку на прощание, чтобы сирены подводные слышали, и чтоб приплыли, и чтобы защекотали, и чтоб сиренам тем стало стыдно и мокро голыми под водой на ветру стоять...

И он запел, этот Люморев, кто бы подумал, что Люморев станет петь, каким-то туманно скрадывающимся, неслышимым и срывающимся голосом, как с эстрады, но без микрофона, когда

отключают звук, по ошибке ли, по привычке или от нечего делать, так. Песня не получалась прощальной, на прощальную не походила, и это давало надежду на продолжение, на то, что что-то еще за этим должно будет, может произойти.

...Еще раз склонился, вытянувшись над столом растопыренной тенью, клонувший своей вареной моркови благодушествующе философствующий Солодухин, рассуждая о том и о сем, про всяческое житье-бытье, показывая, какой он и кто он есть, и какую имеет власть, какой никакой такой перед ним Филиппов ее не имеет и не имел.

“— Да я, — просилось на ум, — да я, стоит только мне захотеть, то своими вот этими вот руками, которыми разрушать не строить, могу, если захочу, удушить! Думаешь, не смогу? Еще как? — мелькало в мозгу неотвязно, не покидая, будто многие мухи и бабочки послетались на свой подставленный в переходе насест, замахали крыльями, замельтешили, дурнея и без того не крепкую трезво голову и совершенно рассредоточивая ее, растормаживая и развозя.

“— Мне же, — на самом деле в тот самый, можно сказать, момент говорилось вслух, — мне же кажется, что эту дивную арию совсем не так надо бы исполнять, а с особым чувством, с вознесением как бы, с подъемом на цыпочки и на носки. — В доказательство и для наглядности Солодухин, двинувшись, шевельнул ступней в спортивной резиновой тапке, будто пытаюсь подняться на цыпочках на носки над толпой, не хватало, чтоб только заплодировали, но этого не произошло, поскольку это его движение заметили многие, если не все, и с трудом укрыли их обуявшее удивление, для чего сначала все вытянулись и приподнялись на стульях, будто съели что-то большое и плотное, пытаюсь теперь проглотить, а потом раздвинули широко глаза в помутневших открывшихся веках и все-таки проглотили, прыснув и опустившись на стульях, как в съехавшее под задами седло. Солодухин заметил разминку и выразительно хрюкнул в разъехавшуюся под самый нос своим верхом губу, скривившись при этом в горьковато-оценивающей усмешке, как если бы и всех знал, и снисходительно понимал, попуская их слабостям.

“— Никогда не бывает слишком, всегда за этим приходит что-то другое, что еще более, что еще далее отводит от понимания окружающих обстоятельств, а петь все же надо уметь, и если не петь, то хотя бы оценивать пение всех других, как я оцениваю, и умею ценить, хотя в нашем деле никак не бывает без срыва, всегда находится что-то, чего нельзя предвидеть, предусмотреть и учесть, чему нет имени как обстоятельству. Вот тот же Люморев, например, какую выкинул штуку, а я уже было думал, что мы свои, что мы сумеем договориться, что все у нас как по маслу сойдет, что ты получишь свое и я свое получу, что долги скостятся, что справедливость восторжествует и я на старости лет не буду сухарь глотать – и вот, и такой вот сюрприз, и надо ж такому случиться, кто бы подумал, кто бы предположил, вот и доверяй потом лучшим, проверенным людям!

“— Не доверяй, Солодухин, не доверяй! Говорили тебе все хором, не доверяй! Предадут, продадут и своими руками в землю по гроб зароят, по самую шею и без костей, и костей не оставят на памятник, чтобы не было что собакам потом глотать! Ни единой косточки даже, чтоб поиграть, на бабки, на шматки, в альчики, пальчики и гайданчики, ни от колешки, ни от лепешки, ни от локотка...

“— А-а, — громко сорвалось где-то далеко в кустах, за кустах, — а-а, — и бросили тихого Мишу с крутого обрыва камнем в глубокую высь-глубину, чтоб не видно было, не слышно и некому было потом поминать.

Но Филиппов и этому не поверил и был по-своему прав.

Гороховые шуты

“— Васюган, ты его подбери, прибери, видишь, как распластался-рассмыкался, голый почти что весь. Нехорошо лежит, и кто его здесь положил?

“— И то.

“— И волосы подними, отклеились. Или нет, это крапива какая-то заплелась. Рукав надо бы приложить, оторвался, а ворот

рубашки совсем куда-то ушел, не вижу, где он, а должен бы быть. На руках понесем или тележку прикатим, интересно, тяжел или нет? Ноги клади сюда, а голову подоткни, а то заворачивается, как бы не отвалилась, как станем нести. Вытягивай, да вытягивай же, видишь в куколь сворачивается, так не годится, не донесем, по дороге развалится, как кисель, между пальцев уйдет и в дырки, в дырки в эти, и кто эти дырки выдумал. Дай сюда, я за тебя их сверну, завязать их бы надо, а то совсем не на месте, я бы и не предполагал, что столько окажется вдруг хлопот, удивительное, странное место, всегда тут находится кто-нибудь утром лежать, как придешь, всегда их тут, вечно навалено, складывают их или что, стекаются тут они все, тут яма, должно быть, наверное, а может какой-то укос, как думаешь?

“— Думаю, да. Думаю, яма или укос.

“— Давай сюда, давай я его подниму, да не с той же, с другой стороны, обойди, зайди, что ты на месте вертишься? Что тебе места мало, некуда, что ли, зайти, да вот же, вот тут же, ну посмотри, вот же рука, а ты думаешь, что? Слепой не увидит, но ты ж не слепой, ты же видишь. Колено задралось, колено надо бы опустить, неудобно будет нести и по лестнице не поднесем, не поднимем, цеплять за перила начнет, за поручни, что я такое только теперь говорю, совсем как не свой, за держалку, торчак, через забор, через решетку не перенесем, перекидывать будем, на помощь придется звать, всегда ведь зовем на помощь, если только встали уже проснулись и зубы почистили, а то ведь слишком, по моему, рано еще, как бы еще не ночь, три часа утра или ночи, а может четыре-пять, кто его знает, я на часы не смотрел, а ты посмотрел, как пошли?

“— Посмотрел.

“— И что?

“— Было что-то.

“— Что было?

“— Сколько-то там часов.

“— Вот с тобой всегда так, идешь и не знаешь, что тебя ждет, чем только вся эта история ночная закончится, не знаешь толком даже, который час, как будто бы некоторый не был.

Живешь с тобой как в пустыне, как на отшибе, как на берегу, как будто в бору, только елки да россомахи ходят, а ты себе ничего, не соображаешь даже, когда и что, никогда даже ни о чем таком не подумаешь, не позаботишься, соседям даже никогда ничего не подашь, потому и спят они допоздна, что никто им ни в чем не поможет, ничего им такого для жизни нужного не подаст, они и лежат, просыпают, не знают, что с ними делается и какой будет завтра день, не говоря уже про сегодняшний, а я вот тут бегаю и всех ищу и всех собираю, как будто мне и дел других нет. Да клади же его на лопатки, на лопатках удобнее будет ему лежать, нельзя же так, человек как никак, а ты с ним как с куклой, как будто бы был неживой, а у него ноги-руки гнутся и локти нормальные, смотри вон, как ходят, как шарнирах вращаются, туда и сюда, туда и сюда, очень бойко и ловко даже, у тебя так не ходят, даже когда не спишь, у тебя, как сухие поленья, трещат, а у него, смотри, все здоровое, молодое, никаких солевых отложений нет и кровь должна быть в порядке, без сахара и мочевой кислоты, не то, что у дядьки Федора, у того даже кожа дряблая, так что страшно смотреть, как одежда на нем висит, а у этого все в порядке, все на месте, и нормально ходит и двигается. Так что давай, поднимай, бери его за ноги, на доску положим, на доске его можно и не нести, толкать будем, пока песок не окончится, а там по траве веселей пойдет, как на санках с горы. Доска не тяжелая, гладкая снизу, не зря я ее вчера оставлял, как знал, что народу прибудет.

И положили Мишу на санки и в гору сначала, а потом и с горы повезли. На ухабах трясло и потряхивало, и в ямки скатывалась следом мимо ходимая пыль, и песчинки рассыпанной под ногой земли, и изъеденные хождениями прелые кочки, и птичьи буравчатые следы, и заячьи незаметные тропки, и лисьи заметываемые хвостом лапы гуды.

Солнце еще не вставало, ветер еще не вздул, не трепыхалось всемоё им, подходимым, пространство лежащего поля пластом повывороченной, не вспаханной толком земли. Было тихо, ничто не звенело, не тренькало, только два этих длинных, в темно-сиреневых блузах-плащах, заходимых, без лиц,

истукана, в долгих дырявых шляпах и сапогах, крутилось ногами и головами, будто ходя на месте, не передвигаясь почти, перекатывая, переминая лежавшую под ступнями травно-песчаную гать.

“— Давай вперед, а теперь сюда и немного ниже, да не туда ж, не туда заводи, ну кому говорят!..

“— Вперед, только вперед.

“— Какой же ты бестолковый, совсем безмозглый, голова у тебя просто соломой набита и сам ты как вывороченный наизнанку мешок.

“— Как мешком ударенный.

“— Вот именно, как мешком! Стоишь тут как волобуй, как пендель, себя не помнящий, как мохнолов, поклеванный воробьем.

“— По утрам ты стоймя стоишь, и не будишь, и не гремишь.

“— Нашел тоже время загадки загадывать, тут перед тобой такое ответственное задание, дело, можно сказать, вся жизнь на карту поставлена, и никакой поблажки, одни трудовые дни, ни минуты покоя, а ты еще шутки шутишь, еще изгаляешься, как будто на отдыхе и развлечения впереди одни.

“— Зато ничего не рифмуется.

“— А мне-то что! Мне совсем тут с тобой не до смеху, сено еще возить, еще вчерашнее разгрести, навороченное, еще там всяческое другое жнивье и много всякой другой работы, а тут вот с тобой стоишь, мемекаешь, и ни с места, ничего никуда не идет, не движется даже!

“— Филонить нечего.

“— Это кто филонит? Я, что ли? Да я как пчелка с утра до вечера на огороде рукавами машу! Я ни минуты покоя не знаю, даже когда ничего не должно быть, даже когда по видимости одна тишина!

“— Давай в голове почешу.

“— Чеси где хочешь. Мне теперь всё уже всё равно. Уже время упущено, и никакой тебе теперь ни дюж, ни гуж не помогут!

Мишу перевернули в распале и не заметили. Стояли, застывши всей нижней частью треножного тулова, и только руки и волосы взмахивались и трепыхались крыльями не на ветру, потому что не дуло. По встревожно разбитому полю рассыпалась бисерами роса, сверкая в темных не выходящих отсветах, покатыми плескими каплями выкатываясь на луках плоско вздыбленных трав, на далеких лугах, на озерных оглядьях-отметинах. Широкие ступни в разорванных сапогах, как в сандалиях, ерзали в прорезях, будто плоские броненосцы в плоских чешуях носков. Размахивали и толкались, не двигаясь с места, не расставляясь, и так и стояли, привязанные, столбом.

Солнце начинало вставать за макушками сосен. Не поднимаясь, сеяло серо-розовый полусвет, проклеивались невидимые до этого тонкие линии очертаний, и проступало медленно из ничего предметное удовлетворение трепетных газовых воскурений. А ведь как до этого, казалось, могло быть хорошо, как светло, как празднично. Какие чудесные, дивные мысли могли приходиться и укладываться в расторможенной голове. Какие красивые страсти и впечатления настигаемых забав. Какие простые, бесхитростные гиперболы и плеремы. Миша помнил еще, как в недалеком прошлом, в незакатанной юности, сидя на голубой под навесом террасе-доске, когда раздавались слышимые повсюду щелчки и трели поющих, сверлящихся, бьющихся, бьющих пульсирующей по округе жизнью созданий, как выставлялись бокатые купеческими задами столы, как дымилось в них что-то, как разливался малиновый шум водопадных, стремительных запахов огородных растений и клумб, как выходили перед столы тени прежних видений и кланялись, кланялись до земли снисходительно галочьим взроком посматривающему на них Филиппову, слегка свысока и избоку, слегка поучительно и с надменностью знающего и подозревающего эксперта и знатока, гордо оценивающего все окружающее и пренебрегающего им, явно, без скрытой усмешки всегда между губ. А теперь? Что случилось теперь? Измельчалось, испошилось, проелось, прошавкалось все. Истины в голове не укладываются, теряются, не доходя по дороге, даже, по частности,

нету даже и никакой готовой подхватывать их головы, какой-то пустой кочан между строк на том месте, какие-то формы и впечатления прежнего черепноения, какие-то битые сколки и грубые мелочи вместо всего. А ведь кажется, ведь выдается, что есть, что цепляет за что-то, что что-то гремит, изрыгает молнии, издает различаемый явно звук? А всё это только усекновение предтечи, когда нету еще ничего, а уже насовсем усекли.

— Стремись к истине? Скажи, что стремишься. Не можешь ведь тако вот пустяком стоять. Жизнь твоя, экзистенция устремляется между пальцев, как вёртко летящий мимо поток, а ты не меняешься, ты стоишь, заряжая дурную голову на ветру менингитом, не думая далее ни о последствиях, ни о чем таком. А за тобою ходят, охотятся, материалы строят, что-то хотят и не могут сказать, потому машут флагами и рот закрыт. А ты все так же стоишь на ветру в одной подоткнутой рубашке, в одних парашютом штанах, и дуется, и простирается, и колотится в окна шум оглушенного впечатления, распростертого заползновения невысоких покатых туч.

— Давайте поговорим еще о чем-нибудь, о чем-то таком, чем-то большом и светлом, о белых линиях, например, между глаз? О переливах уключин воды? О воспитании? О том, как надо вести беседу? Я ведь здесь, я могу помочь, могу объяснить, что нужно, на меня положитесь, не будете сожалеть. О мерзопакостях только не будем сегодня уже ни за что говорить, о них уже наговорилось. Вдосталь, до полного изнеможения, до утёру. Я важный, знающий тонкости и очень интеллигентный, на мне всегда галстуки под завязку, никто их не может завязывать так, как я, я даже знал когда-то, какие женщинам необходимо дарить фильдеперсовы чулки, какие бывают петунии и бегонии в садах, как исполняются арии пресловутого Верди. Я полон мыслей, булавок и впечатлений, во мне растворилась Венеция и Эгейское море, я весь как воздушный, летящий над островом, наполненный прелестями сине-зеленый и весь кучерявый шар. А они? Они, бегущие и суетящиеся, бегая, по обломкам и представляющие, будто бы что они там что, мальчишки, никем ничему не обученные, не выдавшие и не нюхавшие перед собой ничего?

Могут разве они понять страдания немолодого Вертера? Не потерявшего бодрости духа, стремлений минувшей юности и бредущего мимо них в неизвестность еще не старца, как будто бы все ему ничего? Когда отходят бурные пассионарные времена, когда отваливается и разваливается все, что только может, на части, которых не было и которых уже никогда не собрать, когда выскакивают из небытия пустомели, которых пред тем никогда до того не видели, и когда все идет не по плану в ничто, тогда что остается делать оставшимся на берегу, покинутым под сурдинку у всех других поудавшегося разудалого бегства? Вот и я говорю. Вот и стоим мы с тобою вдвоем, как два сброшенных с перекоса болвана, как два горько-медовых садово-гороховых размахивающих на полуветру шута, у жнивья воды, у распростертого впечатления, как будто в колодец походя плюнули, а крышку закрыть забыли.

“— Не веди по уграм ты таких бесед, несварение потом получается.

В голову лезли комашки и мураши, Миша привстал на развязываемых локтях. С трудом припомнил предшествующее, довольно странное впечатление. Локти не тыкались верно в подставленное плетье, что-то им не хватало, какой-то воли, размаха, чтоб распрямиться, распорядиться и стать, качались, как только что народившиеся олени телятки, как листья на ветках, готовые пасть.

“— А ты вон смотри, поднимается, распрямляется, точно растет! Будто не павший только что был? Эдак он нас еще перегонит, и кем мы тогда только будем? Удобрение, перегной, навоз? Начнет ногами топтать, помыкать, плевать, не считаться? Вырастет, а мы, как тут были, останемся для него не удавшимися, пережитым, выкинутым из памяти прошлым за борт истории на свалку и в хлам? Не разберешься после, кто и кем был, даже если захочешь, ни за что не поймешь. Лучшие ведь отходят, лучшие годы, а худшие остаются, худшим не делается ничего, большими их партиями куют. Да что говорить, жалко сил и времени тратить на разговоры. Везде все одно, ну просто везде, непростительная обида, пренебрежение, неблагодарность, грубости, высокомерие,

лапидарное хамство – и забвение, забвение, разъедающее душу забвение на века. Я тут стою, на палке повешенное, обношенное создание и существо, мне тут суют все кому не лень за грошовый пятак свою нищету и мусть, делятся впечатлениями, рассказывают всяческое небыльё, я киваю кепками и обрывками полинялых губ в понимание, я, отъявленный, старый интеллигент, не в силах с размаху, надсадившись, крепко двинуть, не в силах сказать откровенно, что думаю, потому что уже не думаю ничего, потому что уже забыл, а он такой, прощельга и пустозвон, выкомаривается, выщучивается тут за мой счет, за того, за тому, кому кто вытащил его, можно сказать, из воды. Пр-р-равильно говорил господин подполковник, мы еще научим вас человеком стать, вот мы вас как тут посброем от бороды, как прострижем, как прочешем, как проскребем, как двадцать километров бегать научим с мешком на спине, с полным что ни на есть спальным омунированием, вот так тогда и напляшетесь, и натешитесь, и спасибо скажете за пристроченное добро. Да, вот так, вот так еще были тревожные, беспокойные люди в той старой стране, горячие головы и неуспокоенные сердца, еще находились на воспитание и на службу, еще подхватывались за что-нибудь, еще могли кое-что сказать, и в лоб прямо правду-матку, и даже еще ни минуты при том не задумываясь, как есть, как будто за языки не страдали, как будто никто их лопатой и граблями не учил! А теперь? Теперь измельчало всё, испошилось, некого даже стало послать, с некем разведаться, про батарею Тушина было забыто, как там у классиков красиво так это никчемное опереточное всеобщее состояние было определено! А хорошо ведь сказано, черт возьми, никто теперь не умеет так выразиться! Даже если бы расстарался и понапряг мозги, то и то бы так ни за что не сказал что-нибудь вроде *А лошади кушают овес и сено*, и кому это неизвестно, а как смачно сказано, как емко схвачено и разносторонне определено. Нет, ты мне не говори, а образование очень даже многому стоит, очень даже многое распрямит, кривой дорогой уже не пойдешь, кривыми тропами и путями, в закоулках не станешь бродить-блуждать, а если и скажешь что, то прямо и в лоб, как полковник. Как подполковник, что я такое сегодня прям говорю, прям

заговариваюсь опять, опять клепки менять надо, из строя выходят опять. У нас был один солдат, тот всегда на часах стоял и как маятник, как маятник под навесом, все два часа, а когда его спрашивали, Вася, ты что это? Вася, ты это брось, в голове мельтешит и глаза не собрать! Он всегда отвечал: “Я это, чтоб не заснуть, потому что заснуть на часах распоследнее дело, за эти дела и под трибунал!” Ты только себе представь, какое ответственное, какое военное, какое должностное лицо! На посту, на часах стоял, а уже и о трибунале думал, не каждый на такое способен, не каждый на такое пойдет, да и согласится, я тебе доложу, далеко не каждый, чтоб такая ответственность, и все двадцать часов! А этот, который сейчас привстает, как встанет, будет разве иметь хоть долю подобной ответственности? Нет, ни за что не будет! Это я тебе говорю, побывавший под всеми – и под полковником, и под другим с ним таким же начальством, и под подполковником этим, а это главное было, скажу тебе, это посильнее штука, чем Фауст у Гете, потому что под полковником если как-то можно еще служить, то подполковникам ни за что не послужишь, с ними особый режим и подход нужён, с ними как-то по-людски не получается, по-отечески с ними надо, нет, по-отечественнецки, они иного ничего другого не понимают, это такого крутого теста недопеченные пироги, это гвозди, можно сказать, всей программы, весь на ладони продуманный и мелким шрифтом преподнесенный обязательный к исполнению пятилетний план, разбор всех фабрик, заводов и шестерен, такой, чтоб понятно было, чтоб как на духу, чтоб без запинки, как среди ночи поднимут, и без устава, чтоб на зубок, на самую что ни на есть раздырявую рыхлую память и чтобы задом вертеть не мог, не увертелся чтобы, когда за жабры и в кипяток!.. А ты мне тут говоришь, выставляешь, а я тебе и не то еще рассказать могу!

“— Может, его закидать, чтоб не встал? Чтобы снова лежал, как был? А то что же так без всякого дела стоит?”

И закидали Мишу в то утро подвернувшимися помидорами тухлой глухой земли, закидали, чтоб больше не встал и чтоб помнил прошедшие дни.

Что бы можно было на это сказать

“— Не существенное ты говоришь, не существенное, совсем даже ни по какому такому не по существу.

Сидели вдвоем на скамейке, а мимо на цыпочках ходила туда и сюда не проспавшаяся мамаша и гасила при каждом выходе в комнатах свет. Серебряные, позванивали дощечки, скривляясь и кучась одна к другой. Сивцев медленно наклонился вперед, поглощенный разглядыванием и, не вынимая руки из кармана, что-то внутри считал.

“— А ты думаешь, так им сойдет? Ты думаешь, Сазон не воротится? Не свяжется нынче же, чтоб потребовать своего? Героев нет, мир теперь без героев.

Бродили тени по вытянутому пространству, по тихой улочке между глаз, между глаз и скамеек, на которых давно уже никто не сидел, не просиживал проживаемые дни, мерно капающие в свою незаметную, невидимую, с узким горлом, бутылку.

“— Поговорим о чем-нибудь не своим, о чем-нибудь постороннем и рыжем. В голове все какая-то встряска, какая-то суета, всё куда-то бежит, дребезжит, всё маячит, а ты мне про это их невыносимое житье-первертье.

“— Странные, однако, мысли приходят в голову последнее время. Вот сижу так по временам и думаю, и отчего это вдруг ну никто теперь не приходит? Раньше было полно, раньше толклись, приходили, искали чего-то спрашивали и было нужно, а теперь? Года, что ли, совсем переменялись? Стали-пошли не те? В старой какой-нибудь, совсем древней книжке с обугленными краями можно, наверно, такое что-нибудь еще прочитать. Впрочем, и книг теперь не читают, так, разве что отдельные еще экземпляры, странные какие-нибудь там риторы, ктиторы, посессоры или пансионеры. Я вот на тот свет собираюсь сходить заглянуть, неужели и там все такое? Все проела какая-то невыносимая жмудь, какие-то дранчливые псоты и равнодушие, какие-то верткие, прохиндейные полуветра. Я вот чувствую себя здесь каким-то слоном, мастодонтом, какой-то забытой

ненужностью, всё как бы и переменяется или делает вид, а ты мимо лежишь, ничего такого не происходит, как на картине.

Пень был свежим, совсем не тронутым, не покрушенным. Полянка вокруг, усыпанная травянистой листвой полянка. Муравейничек, совсем тоже новый, не тронутый, в иголках-опилках, припорошенных красиво сверху. Недавняя сорока, в этом году народившаяся, не подавившаяся еще толком блином, в ярких пятнах с зеленоватым отливом по крыльям и по хвосту. Деревя, эти вечные, умудренные деревья, в раздумье своем застоявшиеся, засмотревшиеся перед собой. И рассеянно-паутиновое, желто-легкое, поднимающееся вокруг и по краю, неуловимо-воздушное, крыло-ленивое плетиво кругом проседавшего, полунеяркого света, еще остававшегося здесь, еще не вспашившегося, еще не поднявшегося, словно бы пролетавшего только что и задержавшегося, в своем пролетании ненадолго присев.

Если бы выбежали сейчас на дорожку, хотя бы двое, в своем ежедневно спортивном азарте, в своем пробеге пустых минут, тренирующих застоялые мышцы в гиподинамике тихих сидений, стояний и череды, если бы вышли из окружавшего леса, хотя бы с портфелем и в нем колбасой, если бы разложились, раскинулись, распространились по полю нетоптаной вокруг травы, если бы с одеялом вылезли на пикник на простор загорать, если бы разогнавшиеся велосипедисты мимо промчались, всадники ночи и дня, если бы девушки в сарафанах и с косами вышли по ягоды, по грибы, если бы разбойники с посвистом выскочили или охотники с мешающим им впереди на ремне ружьем, так нет же, тихо всё, девственно-сухо, нетронуто, неколебимо. Гуман не упал, роса не вставала и солнце еще, поддрумяненное, за гору свою не зашло.

“— Ну вот, вот так тут с бабкой вдвоем и живем, а ты как думаешь? Черепитчатые обои, занавески на окнах, некрашенные столы. По вечерам легкий, душепользительный разговорчик, дымок-костерок, чаек, парфюмерия, комариные пустые борения, обмахивания, какая-нибудь духмяно-банная по саду купель, и никакого тебе ожидания, никаких заметных страданий,

преодолений и мук. Покой, благодущие, мерное, незаботно осажненное житье. Только чирк по небу к себе летящих миротворными вечерами птиц, а ты говоришь, Сазон приходил, Сазон говорил, Сазону нужно. Плакать хочется, но нету ни сил, ни слез.

“— Но Сазон приходил, и Сазону нужно. И ты знаешь, что мне сказал Сазон, когда приходил за малиново-черной своей фуражкой? Что все уже давно куда-то ушли, а мы остались в каком-то тяжелом, непроходимом заду, что сидим, не поём и ничего ровным счетом собой уже не представляем?

“— Плевать на это. Пускай сидим. Пускай они говорят, что хотят, пускай себе свое разговаривают, меня давно и ничем уже удивить нельзя, я дал себе поручение не удивляться, зарок, указание, директиву дал, и тебе советую. Если их переслушать, так спятить можно, по миру пойти, ни с чем остаться. Они тебе наговаривают, нарочно всё, чтобы гадко было, чтоб ты себя сразу никем почувствовал, чтоб полным ничтожеством, чтоб интерес у тебя к самому себе, к персоне своей пропал, чтоб полностью сразу и чтоб неповадно стало, а всё только вокруг их себя одних, чтобы скакали и прыгали, чтоб в рот заглядывали, что вроде у них у одних и осталось что, крохи какие-то там достоинства и остатки жизненного пространства, а я не буду скакать.

“— Да уж, это как в стародавние времена. И что, как пришел, то забрал фуражку? А то ведь теперь нельзя. Теперь эта фуражка много стоит, меняют и продают. Это как мой материнской линии дед, где-то был, где не стоило, крест какой-то вlepили, носился с этим крестом, и чем кончилось? Известно, чем кончилось. Теперь другие, конечно, пошли времена, теперь вроде все как и можно, и как и нельзя. Теперь на улицах все продают, стоят развешенные, руки-ноги врозь, и чего только нет у них, все вроде, кроме того, что нужно.

“— Не рассказывай. Был, приходил, забрал, а что забрал, я не спрашивал, мне вон кур кормить по утрам, а то огород сключают. Кур теперь не покормишь вовремя, не оберешься хлопот. За курами глаз да глаз, куры дело ответственное вполне, на курах весь свет стоит, в Америке, в Азии одни только куры кругом, яйца

несут, кудахчут, глазами косыми хлопают, жизнь из них так и прет, а ты мне тут про фуражку.

“— Не пренебрегай, фуражка дело тоже вполне ответственное, если по голове. Мне вон милиционер рассказывал, как не проспиться если, забудешь дома фуражку, так и на работу не приходи, не пустят, как если бы голый был. С Сазоном мирно надо дружить, у Сазона двоюродный брат начальник, много умеет, в том числе и напортить.

Тихое пение раздалось, скромное, как бы пели о чем-то дальнем и издалека, не решаясь, о наболевшем и о своем, об усталом и о покинутом, о разных разностях бытия, о любви и о муже, и о прощении, о минуте, о вечном спокойствии и несуете, о плывущих по небу верблюдах, о душах верблюдах и о кораблях, о пустынях и о надежде, о жажде и о ручье, об утолении жажды у крутящегося струями, прыгающего между ногами ручья, и о муке, страданиях, размышлениях в тишине, в тихом шорохе палой ночи. На цыпочках вставши, стояла нагая фея, махая крылом, обнаженная маха, женщина в длинном платье, прикрывшем крутые плечи и бедра, и высокую белую грудь, и волосы по плечам, как плед, как тяжелая от дождя пелерина прикрывшие все, не видя, не замечая, не позволяя увидеть и разглядеть для себя одного, освоить, понять, принять, обаять, как ни силиться, как ни стараться, ни щуриться, ни прикрывать надбровные дуги щитком, как ни вставать на носки, ни тянуться, ни втягивать грудь и живот, ни удерживать предательское дыхание, чтоб подсмотреть, ничего не дается увидеть, выскальзывает из глаз, пропадает, соскакивает, соскальзывает, свербит и дрожит, как капля цедащейся с кончика листика талой воды на моргающей, неясной то пропадающей, то исчезающей глупо-дурацкой яркой малеванно-гофрированной фотографированной картинке. Кто б это был? Какая неосуществимо далекая, маетная мечта, какой растороп подросткового сожаления? Какие взбудившиеся, восставшие вдруг в осуществлении своем неотчетливо обрисованные надежды? Какая такая пышная, розовотелая бризовая фигура сочувствия и бескорыстного дара, рифленая грусть, воплощенная в палевых красках мысль вятеля и творца?

И вот появилась, и вот исчезла, так же, как все туманно-далекое, невыразимое перед тем. И что ты на это? И что на это можно сказать? Обычно дурят, обычно мухлюют, обманывают, а тут тебе просто так? Нет, решительно так не бывает, так просто не может быть, так легко ничего не дается. Эфемерными кажутся всякие мысли и достижения, посидит и уйдет, и никакого, даже теплого места по себе не оставит, ничего насиженного, никакого тебе ковра. Сивцев знал, Сивцев был к тому приготовлен, у него всегда и на все был готовый и философский ответ, определяющий сущность и простоту на глазах слушающегося.

— В каждом, ну просто в каждом сидят не всшевеленные эмоции. Каждый бывает по нескольку раз и там и здесь, и еще где-нибудь. Вот ты тут сидишь и думаешь, что ты здесь, а на деле, в действительности, если к тебе присмотреться, тебя тут нет. Ты, может быть, где-нибудь здесь под рукой, а может, и где подальше, куда Макар телят не гонял, где мухи зимуют, куда в сердцах посылают, где-нибудь на каком-то зелено-травном непроходимом болоте в глухом и гулком аукающем лесу. Я там бывал и все видел. Бабка моя ворожит и ночами кряхтит и встает с лежанки, и вякает, и детей по утрам пугает, когда встает. А ты говоришь, что феи, какие феи, бредни все, все выдумки, все химера, все ерунда и треп. Феи к нам не заходят, они где-то там себе по себе, им тут нечего делать, туго им тут, дрянно. Тут завалы и неразгреб, черти ногу сломят, а феям как тут летать? Им простор нужен, свежий воздух, неспёртый, эфемериды и кисея, газ, меркантильная дымка, флер, дуновения веера, легкий ночной зефир, опахалы, вуали и флердоранжи, хромосомы и хризостомы, пуанты, пикантность, мягкость, кроватность и делисьё. А куда мне с ними, как у меня только бабка и сундуки, хоть бы платьями были еще набиты, так нет же, сплошная немочь и битая моль. По правде если, так я устал только от этих пустых мечтаний и неосуществимых дурных надежд, мне с ними некуда, разве что на погост.

— Не рассказывай, мы это по физике проходили в десятом классе, про всякие там эти пятна и грововые поля.

— Стреноженный конь далеко не упрыгает, для того его и треножат, чтоб не скакал. Что мне в последнее время все

кажется, так это то, что листья перестают расти. Просыпаешься как в холодном поту, глаза горят, так что и не собрать их, а зубы лязгают, мысли путаются, не поймешь, что ты и где, что вокруг происходит и сидит кто-нибудь под дверьми или нет, не сидит. Вроде бы как и обычно все, а какой-то страх, какая-то невыразимая мысль под подошвами и в лодыжке мешает и не дает покою, и шевелится мышью, и раздвигает накинутый сверху барьер. А что я могу на это сказать, что я во всем этом понимаю? Как я это себе объясню? Собаки лают, козлы поют или не то ослы, далеко-далеко где-то, как бы из подворотни или из-за низины какой, и вой вроде как, из ущелья, мокрого, влажного, липкого, спотыкающегося, спохватывающегося, глухого и гулкового, и камень падает, и долго до дна летит не летит, и постукивает на уступах и выступах, на выпуклостях сухой стучащей земли, как костях, где он только себе достает, где находит нору, в которой не спрятаться, в которую не уйти, не укрыться, потому что узка, потому что ноги начнут, выходя, торчать, и пугать проходящего мимо прохожего, какого-нибудь проскакивающего и порскающего на ходу коня, а я не могу так, мне тошно, меня мутит и с души воротит, и только птицы в высоком воздухе летят-пролетают, туда и сюда, туда и сюда, как веткой кто их в таком количестве намахал, как будто погнали стадом, темные треугольные листья падающего, сыплющего, ссыпающегося ноября, урожай небесных полей, ржаные колосья кос, метелки овса и сыплющий ветер пыльцы вдохновения, и я весь тут, весь снова в поту и талый, сижу и дрожу, как безумец, и зубы лязгают, и зубы стучат, и зубы как клавиши, как барабанные палочки и инструменты, как электрические гудящие провода. Но птицы эти хотя бы знакомые, узнаваемые, хотя бы известные мне по картинкам, хотя бы понятные, что к чему.

“— Не рассказывай мне про это, я просто вынужден тебя оборвать, потому что про это нельзя рассказывать, а то присниться еще и придет... Не знаешь прямо, к чему прицепиться. Тетка моя вон велела поставить высокий забор, загородиться чтоб от прихожих, от мякающих, от просторечных, от непосредственности и простоты, и что вышло? А ничего. Я как

больной по этому поводу. Мы убегаем, а оно за нами идет, и чем быстрее стараемся убежать, тем скорее оно настигает, тем скорее приходит и достает.

По дорожке прошли две фигуры, два незваных красавца-гуся, две гордо взнесенных шеи с красиво-огненным нарумяненным впереди носком. Посмотрели искоса, вскинули головами, напыжились, фыркнули, дунули что-то себе под нос, коллективно-совместно пренебрегли, обменявшись грассирующими интеллигентными репликами, коллегиально и комильфотно, как если б не в первый раз, и мимо себе прошли, ступая задумчиво-тихо, оставив оценивающее по себе одеяло, какой-то невыразимый порочащий шлейф, словно нагнулся бы кто и плюнул с башенной, всезнающей, едва удостоивающей своей высоты.

“— Вот и всегда так, придут и уйдут, и довольно часто такое с ними бывает. Такие теперь времена, каждый свое показывает, выпячиваемое достоинство и значимую величину. А что я могу поделаться, поневоле приходится, должен терпеть. Нельзя проявлять невоспитанность, надо быть обходительным, милым, веселым с ними, хотя они как приходят, так никого не щадят.

“— Крысу бы им в курятник подсунуть, тогда не станут себя выставлять. Крыса – животное неосторожное, церемоний не понимает, не станет цацкаться, головы-то посвернет, сразу им полегчает, как головой поуменьшатся, сразу куда что девается, куда пыл сойдет.

“— Не говори так, это уж как-то грубо, я не охотник всяких подобных мер, я существо деликатное, обращение понимаю спокойное, уравновешенное, без грубости и остроты. Это их этот Люморев на такие меры способен, взять, схватить, задавить, загнать, чтоб и не пикнули, чтоб не передохнули, по мне лучше действовать осторожно, с ухваткой и наверняка.

“— А охотники сидят себе преспокойно в кустах и добычи своей дожидаются, уже и ружья наставили, и ножи заточили, и приготовили свои сумари, и есть что выпить и съесть, пока ты со своими манерами и деликатностями будешь раскидываться, да

раставляться, да примерять. Караульщик давно привстал и давно не дремлет, караульщика свистнули, и он в стременах, караульщик зинет – и ты пропал, и нету тебя в поднебесной, корова слижет тебя языком, небесная, высоко ходящая, давно не кормленная, в диких кровавых пятнах корова на задних ногах, с толстой сумкой через плечо и зубами, как у жующего Миловидова. Не помогут и прелести деревенского бытия, все слизнет, проглотит и не подавится, как в бездонную гулкую бочку уйдет, не застрянет и не провертится по пути.

“— Какие ты страсти рассказываешь. И как такое только приходит на ум? Не разберу я последнее время, ты так нарочно меня пугаешь, по поручению, или все более сам от себя? Какие-то странные все идеи, какая-то непростая, болезненная глухота, несвобода в желаниях и обреченность выбора. Я, говоря по правде, стал наблюдать что-то подобное, что-то такое же довольно у многих, что-то вокруг происходит, что-то делается, куда-то стремится, идет, куда-то катится, а зачем, к чему? Пугают, чтобы пугать, что-то такое свое рассказывают, что-то тревожное, гадкое, но чему и названия нет, что-то такое без смысла, нравственного значения и заметного содержания, какие-то свои хитрые шудры-мудры, какие-то распрекрасы и загогулины, но безответственно и непонятно, только чтобы куда-то тебя втравить, загнать, поставить в неловкое положение и по возможности обойти, облапошить, выставиться и самому показаться, быть первым, а не вторым и не третьим.

“— В том, что ты говоришь никакого значения я не вижу, пустое сидение и трата времени только с тобой. Тебе говоришь одно, а ты про свое другое, как будто не понимаешь, не хочешь из сказанного ничего понять.

Листья расколыхались снова, качаемые пролетающим ветром. Раздался на улице и по задворкам слегка приподнявшийся стук копыт. Прогрели ведром от цепного колодца, поехало за водою вниз, шлепнулось где-то в прозрачно встревоженной, тёмно спрятанной глубине, притаившись и гулко, и капли закапали по шершавью гребущихся кверху ступеньками брёвных стен. Затикало, затакало, заляпало, зацакало,

поднимаясь и грёмно, по барабану ходя-скрипя, повизгивая, будто вздырало хвостом, будто взмеривал кто, будто вспахивал прикорнувшую рядом ночную мглу, уснувши раскинувшуюся бомбаркой на фартуке темной зари. Ерзали в шкивьях, в шневьях, в обоях разбредшиеся картины преобращенных героев и полубогов, и открывалось навстречу плакатное, яркое, ниоткуда вдруг взявшееся и всеобщее сожаление ко всему живому и ко всему рожденному, и вообще и совсем ко всему. Не устать бы было только вовремя приподняться и встать, чтобы не пропустить, разглядеть и не скинуть.

Круг сомкнулся

Не взбудить, не понять раскачиваний и пробираний, когда на открытом возу везут ко тщедушному простодушью, когда расставляются силы, чтобы встать и лечь, чтоб рассказать всем и каждому, как обычно бывает и каковы обстоятельства происходящего.

Филиппова охватила медлительность и молчаливая, простодушная пустота, незаполненность стоящей перед глазами занавеси экрана. Ничего ни сказать, ни понять, чтоб доступно и ясно, чтоб мыслям было просторно, чтоб, не ломая голову, встать, не ударившись о косяк, не зацепив ногою ночной подвернувшийся вдруг горшок.

Легко было вместе с тем. Одновременно и бестревожно легко, как в мягко плавающем и баюкающем полусне, как на дне голубой и прозрачной воды, как еще не родившимся.

Проходили дни. Пролетали печально закрытые, неподвижные времена, как лежащие по полу, крутобоко покатые, животами и гнутыми спинами раскидавшиеся, разлегшиеся подушки, на которые лечь головой и, устав, отойдя, запнуться.

Припоминалась кухня, с веселыми буклями, вздернутым носом, кудрявой игрой затейливых губ, ходивших без остановки, с какой-то странной и вызывающей размеренностью расчерчивающая пальцами воздух перед собой. Особенно когда

приносили и ставили шоколад, словно охватывавшаяся тогда восторгом, поднимавшим ее на своих крылах, начинавшая жестикулировать тогда как-то особенно, непередаваемо, всем видом показывая, что собственно значит для нее этот шоколад, эта самая чашка, посуда, из которой, цедя, пьют сквозь губы, чтоб их не обжечь.

“— Я тебе говорила? Я тебе не говорила, как они в Средней Азии плов едят прямо руками, берут всеми пальцами и едят, у меня всеми пальцами не получалось, получалось только тремя. Вот вот этими, — и она показала три пальца с тонкими в линию вытянутыми опушками и полукруглыми, окантовкою, ноготками, вытянув их в трубочный бантик, будто клюв.

“— Хотели мне даже вилку дать, раз не получалось и гость, гость не должен, как все, и что на отдельную миску мне переложат, чтоб я не почувствовала себя как-нибудь. Но как это? все из одной тарелки едят и сидя в кружок, из большой такой, как круглое блюдо, тарелки, а я буду вилкой из миски одна? Нет, я сказала, что так нельзя, что попытаюсь, чего бы мне это ни стоило, как же так, пусть все себя чувствуют самоуверенно и как дома, что я не хочу никого смущать, к тому же, раз так положено и так принято, то и положено и значит принято и нельзя никакого такого принятого обычая нарушать, надо есть, как все, и что мне даже приятно будет с ними попробовать их пилав, чтоб было что вспоминать. И представляешь, не всеми пальцами, но получилось, вот этими вот тремя. Я не жалею, что не согласилась сама, как бы это действительно выглядело, сидишь как дура в углу одна, а так, очень было и поучительно, и интересно, чужие обычаи надо знать, все это обогащает потом, и как-то по-особому действует, облагораживает, и знаешь, что было особенно, я себя даже как-то почувствовала, как никогда перед тем, в какой-то как бы купели или корье, и какой-то такой особенный, необычный был вкус у всего, и у мяса барашки, хотя я его не люблю, вилкой совсем не то, вилкой разве что курицу только есть, что-то вилкой теряется, какой-то свежести в вилке нет, какого-то этакого дыхания, густоты, аромата полей, горного воздуха, свежести, металлический привкус и купорос, даже из нержавеющей стали, про

алюминий я даже не говорю, как кастрюлю жевать, как какую-то глупую проволоку.

Кузина была непорочна в своем стремлении всё показать. Словно намеренно или забывшись в разлете выказывала навстречу слегка выставившийся буф, даже когда разговаривала с незнакомыми ей мужчинами, даже когда они были старше ее, хотя таких она избегала, возможно интуитивно боясь отцовского проявления и опеки с их стороны. А выставив, как-то нелепо, куколки, подрагивала рукой, покачивала ею, словно стеблём на ножке. Других же, что помоложе, она не боялась совсем и чувствовала с ними себя в тарелке и на короткой приятной ноге, в чем-то даже показывая и проявляя не осуществленное в себе, не исполненное никогда материнство.

На столе перед нею в вазе стояли и красовались фрукты, словно искусственные, словно вырезанные и склеенные из цветной и картонной бумаги. Скатерть была цветастая, пестрая, тоже вся в бабочках и парусах. По краю румяного ободочка блюда ползла голубая кромка, вся в утлых ущербинках и убежавших змейках. Было неярко светло, в каком-то розово-мглистом, не существовавшем тумане, в каких-то скитаниях талой воды, невыразимо ветреной и ненастоящей, в каких-то раскиданных кружевах белых изюмных расщелин и ответвлений.

Плыть бы к другому берегу и на другом берегу увидеть раскиданные полотнища идущих не в ногу, ожидать расстояния, чтобы за ними поспеть? Или, отчаявшись, расстаявшись, не торопиться и никуда не спешить? Пускай проходят мимо, пускай, не махая, идут, пускай чешуями расплывших, неясных истин мерещится что-нибудь и, не объявляя себя, говорит?

“— Покажи мне свою коробочку, приоткрой, дай понять, что в ней прячешь, что, расставляя в ней ежедневно, перебираешь, выкидывая одно за другим наверх, а что ни в каком таком объявляемом виде не обнаруживаешь?”

Миша стал мудрым или в нем заблудившийся дух, как гриппом подхваченный на ветру? Какими словами заговорил, какими странно, необыкновенно оформленными вдруг словами.

Мягко спустился полог приподнятого щипком одеяла. Преследовали, подглядывали, задирали гребком занавеску, как пересчитываемые пачкой финансовые билеты, чтоб не расплачиваться и лишку не перехватить, старались выглядеть, досмотреть, донять, но как-то не превозмогли, чего-то им не хватило, какого-то начального нужного порогу, какого-то мартовского внутреннего тепла, бурливо будящего к сокам природу.

Кузина была тепла, несмотря на явную тонкость безрукавных своих постоянно предплечий и бегающих кверху локтей. Платье кузины всегда распалось, краснело и парусилось, словно хотело ее, приподняв, на себе унести. Кузина рассказывала и философствовала, никогда не будучи познакомлена с Мишей. Миша был просто рядом с ней. Сидел, находился возле, присутствовал подле, они словно поддерживали для него друг друга, помогали Филиппову одну и другого в себе воспринять.

Облокотившись о кресло, Филиппов сидел в задумчивости, измученный всем происшедшим, откинувшийся, отъединившийся, вялый. Ничего бы как будто не было, ничего не случилось, не подошло. Нога почувствовала пукловатость возросшей травы, повставшей за ночь, за две, может за три съёженных ночи, скомкавшихся в одно, не разлепленных, не разводимых. Отвелся край от доски, где-то рядом стоящей, впереди себя пропуская и не пропуская, держа за плат отозвившееся, отнекавшееся ништьё.

Вот и всегда так. Придут и уйдут. Дадут задание свое, как будто нечем и некому заниматься, а потом и бросят, не поинтересовавшись толком, что же было и как прошло. Люморев, тот хоть откровенен, тот простец, это не Солодухин.

Все было пронято, стерто и пережито, все растерзалось и сволоклось, но во всем этом не было места чему-то важному, какого-то милого естества, души и зеленого распускания.

Обмыли ноги к вечеру, сложили одну к другой, выходило как на картинке. Но не было ради чего, ради какого такого проборного понимания, ради чьего приближения, чтоб вставать и

встречать с церемонным поклоном. Был ритуал, но не было объяснения к ритуалу.

“— Отойдем теперь от разгоряченной зари, она не способствует единению душ. Она только дразнит душу.

“— Отойдем, отойдем, навсегда теперь отойдем, — колыхалось и вторилось, и поднималось снова, словно какое-то эканье, не пережитое впереворть.

“— Что ты милого можешь сказать? Что ты знаешь, переживший столько дранчливых, ребяшных минут, как будто бы на папаху повысыпали каким-то горохом и все их велели потом собрать? Ты ведь тяжелый, неповоротливый, медно саднящий в дурное мерин, мерно жующий какое-то медленное свое? А я вот жду, а меня тоже ждут, а проходит жизнь, как прискакивающая на ножках лошадка, которую в далеком детстве едва не сломали, но все же, кинув, свернули голову и отодрали плюмажный хвост?

А Миша снова не приходил. Мише было не до того в своей бренно удобной чаше.

Где бы там было на островах, в подметенном вечере, с попугаями на заборе, с чирикающим у плетеного входа ручьем? Когда тишь одна и глубина, и ничего вызывающего, никакой подзаборной собачьей тоски, никакого воя, и только у ветки подвешенная пищаль напомнит так далеко пережитые дурацкие времена?

Но нет, нету вечера и островов, и попугаи не вылезли, и голова не лохматится за качелью, и не видно над нею летящих жоржет, и даже не взвизгивает никто, ущипнутый за фижму и портупей, никакими такими галантными не маячится буклями. Кузина совсем не пришла, где-то в прошлом осталась, зависла в своих кринолинах, ничего не успев сказать, никакого такого жеманного прижиманства и обобщительных излияний на человеческий счет, никакой забубенной максимы. Один он как есть. Все ли покинули? А может, никто и не приходил? Никому просто не было дела? Как Солодухин к Дремову или, обратно, как к Солодухину Дремов, к ручью ручьем?

Потираются мелкие зябкие ручки, приготавливаясь есть, нацеливаясь соколино-оценивающим, примеривающимся глазком,

заглядывая им через щелочку мокрых глаз. Оно не упустит, старое, свое ему молодое предназначаемое вовремя, чтоб незаметно, крадучись, чтоб не выпячиваясь стреляюще-погасающим, падающим огненным цветком, пожирать, в свечении неверной луны, помаргивающей ночесветками в темном мраке едва заметной, не шевелящейся, мягкой, окутывающей морской воды.

Повстали грибы дождя, разухабившись наползающей осенью. Где-то гудел, отдаваясь, мотор, шевелились пихты и ели, раздавались тихие, незаметные по деревне шаги, когда не можется и не становится на ноги, когда все валится в непроходимый прохваченный сон, когда как ветер заносит обертку трав и кореньев, неясной, раскиданной по кустам листвы, когда открываются невидимые, не замечаемые всюду окошки подсматривающих не заинтересованных глаз, как эльфы и духи пространств поглядывающие в оставленное всеми небытие.

Было ли что? Оставило ли, походивши, никлый, опавший след? Хотело ли быть или вынудилось, не собираясь, не емлясь к прозрачности своего никому не ясному существа? А если и было – когда? Заметил ли кто его, не пропустил, припавши лицом к не пропускающей воздух стеклянной витрине, дающей видеть на эту сторону, но не дающей в ней осуществиться и быть.

Лошадь муругая, соловая, тихо-упрямо шла в не пускавший ее турникет, в вертушку, с телегой, с оглоблями, с всем, чем было.

Удивления было достойно происходящее, только не было никого при том, некому было тому ничему удивиться. Утихли звуки, выключились животные проявления, никто не ходил, не вставал, не являлся, не появлялся, не рассаживался на лестничках и на порожах, не топтался, переговариваясь на месте, не рассказывал сплетни и анекдоты, не мыл костей, не носил воды из колодца внизу, не стоял на углу столбом, не шептался по-бабьи, не рассматривал проходящих, не деловито почесывался, обмысливая, обмеривая что-то свое.

В тихой комнате тоже не было никого. Филиппов сидел сутуло, несколько сумрачно-емко, подткнувши свесившиеся ноги

крестом под стул, подогнув ступню, на которой сложил вторую, в позе мыслительного философа, обопрев подбородок на три заведенных пальца, а два у щеки сложив, как умный политик, как руководитель большой страны, обложенный весь покругом ответственностью и знающий ему положенное свое. Ждал Мишу.

На столе перед ним красовались в искусственной вазе фрукты, мандарины и апельсины и дыня с ананасами посреди. Натюрморт. Живая картинка. Кусочек используемой природы. Декорация окружающего кругом естества. Ниша рябой воды, повстающей из ничего, из ничтожества, из пустой густоты вырастания естества для каждого своего страсготерпца. Переносили деревья с места на места, переводили луки и плуги, сажали и не вставало, а вот, тут вот, ему, Филиппову, на столе вдруг все есть, чему не было, быть не могло, повывороченное. И если бы души верблюдов, повывороченные также в слепом утверждающемся, забивающем все на корню отчаяньи, на свою и чужую свободу плыть, тоже бы встали, повышли, повыворочили и потекли, то им бы легче, наверное, было, их бы некому было тогда убивать и ловить, деля на ненужные шкуры повывороченного наружу шмотья. Они бы живы были и посейчас, пролетая над облаками куп, и березки махали б им на своих тонких, спеленутых, белесовато-окрапленных, трогательно умильных ножках до слез. А так нет, нет ни душ, ни верблюдов, все минуется мимо, пространствуется, не захотя заходить.

Филиппов сидит набычившийся, нахохлившийся, надувшийся как мышь на крупу, Филиппов своего себе ожидает, какого-нибудь трясения потревоженно-медной земли, каких-нибудь упоений и расставлений, какого-нибудь сатиристого еще озорства, на тонких ногах плещеевской, подкормленной на заливных зеленых лугах козы. Но почему-то никто не приходит и ничего не случается. Никакого движения, ни сзади, ни впереди, никаких белых лилий, никаких перемещений надыбившихся пространств, словно вытрясли все уже из своего бездонного рукава, все комаринские затеи, все проскурные мысли, все перемены и будоражные вередья.

Ах, если бы всё было так, как хотелось. Если бы упоенный восход-закат появлялся-всходил с надеждой, давая полными пригоршнями желанные мишины семена, и те бы всходили, посеянные, и пчелы б слетались их опылять, и ветром б не било, и не шарахало б в полдень холодом, и чтоб всё-всё посеянное вдруг взошло! Но нет, нету истины, и справедливости тоже нет. Миша опять не пришел, Мишу куда-то закинуло, сложило и сволокло, в нем не выгорели остатки неясностей и темного несогласия, невозможности, противоречий, нежелания принимать несвое. Миша тверд и упрям, как камень, положенный под порог. В нем тревожны суровые нити и туманно невыгодны приходящие куролесить дни.

По голове заходили тени, которых нет. Закат не хотел являться, словно не расставался зависший над пологом день, вечный день, без среды и праздника, без тяжелеющих по углам брезги куролес.

1992; 2002 (14 июля)

[Книга была опубликована в 2002 в Интернете на нескольких сайтах в США, России и Польше]

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

- Незабываемые дни 3*
Зябликовый сон 9
Глупости бесконечные 15
За тонкою дверью насилуя природу 21
Светлое безумие 26
Событие 31
Памятуя о естестве 35
Мамаду 40
Поднятая занавеска (рука) 45
Планы мои – планы ваши 49
Распоясавшиеся младенцы 54
Перепутанный Орфей 59
Тьма 63
Когда это было 68
Кусты рябины 73
Невидимые чудеса 77
Приблудные 82
Роковая часть 88
Трибуны 94
Мандолина 99
Маглобдт 103
Гремучесть 109
Понятийная доля 114
Обрамление 119
Остановленное движение 126
Человек судьбы 132
Без тормозов 138
Жуткий амен 143
Ночь без стука 149
Царевна Лебедь 154
В тишине воды 160
Памятная всем суета 166
Припадание 172
Царёвы свободы 178
Стрепетов 185
Чего не ожидал никто 191
Съели замазку 197
Срыв 204
Гороховые шуты 211
Что бы можно было на это сказать 220
Круг сомкнулся 228